

123216  
12121111

3456789

101112131415  
1617181920

Карелин Лазарь Викторович

Змеелов

Роман

1

Скорый поезд из Ашхабада, неся на вагонах пыльную окалину пустыни, медленно завершал свой долгий путь у перрона Казанского вокзала. Еще не встал состав, а уже дохнуло откуда-то арбузом. И песочек этот, прильнувший к вагонам в Каракумах, уже вплелся в московский ветер, незнакомо-колко скользнув по лицам встречающих. Трудный путь завершал поезд, устал.

И люди, ехавшие в нем, устали. Они выходили из вагонов без особой живости, как это бывает, когда подкатывают близкие поезда. Они выходили, пригнутые поклажей, обвешанные ранними дынями и арбузами, с впившимися в руки веревками, которыми были обвязаны щелястые ящики с громадными помидорами, с молодым розовым виноградом. Уже весь перрон пах дынями, виноградом, мускатным, терпко-винным, и особенно сладко-пронзительно пахла сушеная дыня, обмереть можно было от запаха кем-то оброненного расколовшегося арбуза. Казанский вокзал ненадолго стал ашхабадским базаром, вот только гор за домами не было видно и люди тут были не гомонливы, даже те, кого встречали. Их истомил знойный путь и испугал московский зной - они ведь рвались на Север.

В числе первых, сошедших на перрон, был мужчина, почти не обремененный поклажей: маленький чемоданчик с притороченной к нему небольшой дыней - и все. С такой поклажей лететь надо, а не влачиться через Туркмению в конце июня, когда там местами спекается земля.

Приезжий знал дорогу, уверенно вошел в туннель, ведущий в метро. Приезжему было лет сорок, но, может быть, и больше, а может быть, и меньше. Его старило обожженное солнцем лицо. Его молодило то, как он легко шел, помахивая чемоданчиком, как прямо держался, вдруг удивленно, жадно взглядывая, будто узнал кого-то. На нем был немилосердно выгоревший костюм, когда-то очень хороший. Он был высок, худ, у него были сильные плечи, и сильны были его коричневые руки в грубых, будто рваных шрамах, даже издали приметных.

В вестибюле метро приезжий остановился, медленно повел глазами по сводам. Он узнавал, глаза узнавали, он сейчас себя узнавал - здесь, себя давнишнего, из былой жизни. Конечно, это был не приезжий, это был возвращающийся домой человек.

Вспоминая Москву, далеко, очень далеко от нее отъехав, он вспоминал, не неволя себя, покоряясь памяти, которая водила его по совсем неожиданным местам, не обязательно главным в его московской жизни. И метро конечно же было для него не главным, он редко ездил в метро, особенно в последние годы. А вот память все время водила его по этим станциям, давним, из первых. Наверное, потому, что они напоминали молодость. На "Комсомольской", в этом зале для празднеств, он назначил раз свидание. А она не пришла.

Ее забыл, а что не пришла - помнил. Обиду ту молодую помнил, даже запах у той обиды был. Пахло мокрыми тряпками и опилками, потому что где-то рядом, почти касаясь его ног, женщина в синем халате протирала обмотанной тряпкой щеткой мраморный пол. Сутулую спину этой женщины вспомнил - вот сейчас, здесь, когда остановился, озираясь. И почему-то как о приятном вспомнилось, что та девушка, которую забыл, не пришла. Приятна была острота той боли, того мучительного ожидания, почти отчаяния. Так чувствовать теперь он не мог.

Пока ехал в вагоне до станции "Охотный ряд" - в памяти у него укоренились старые названия, - безмыслие жило в нем. Столько раз, думая о возвращении в Москву, он проезжал этот путь, стоял вот тут, в углу вагона, раскачиваясь вместе с ним. Он - здесь, его качает, стены туннеля слились за стеклами, он в Москве, он вовнутрь ее проник, вокруг люди, женщины, он слышит московский особенный говор, самоуверенный и на "а", он ловит ноздрями горьковатый запах метро, по которому тосковал - столько было всего, о чем тосковал! - и ни единой мысли в голове. И радости никакой, отлетела вдруг радость. Она стала покидать его еще в поезде, когда потянулись за окнами узнаваемые, памятные московские пригороды. Состав тормозил, подолгу стоял у семафоров, выбившись из графика, а он был рад этим остановкам, один, наверное, во всем поезде был рад, что поезд тормозит, плетется, медлит.

А так рвался в Москву все пять лет. Каждый день, каждый час, даже во сне. Сперва рвался, чтобы поквитаться, для драки. Было с кем. Потом остыл, крепко остыл под палящим туркменским солнцем, а может быть, поумнел, а ум ценит тишину в душе, и из тишины этой стал думать о Москве уже по-иному, все чаще вспоминая свою молодость, ту Москву, из той поры, до крушения, и рвался в нее, туда, назад. Добрые сны были о давнем, когда кошмарил, вспоминалось недавнее.

Он вышел на платформу "Охотный ряд", чтобы очутиться у гостиницы "Москва", на серединном, центральном этом месте города, откуда видна была Красная площадь, уходила вверх улица Горького, вставал перед глазами Манеж. Тут тоже памятное место - у выхода на Манеж. Тут тоже назначил он однажды свидание. Условились, десять раз сказав: "Лицом к Манежу". Вышел, узрел Манеж, как вот сейчас, а ее не было. Ту женщину он помнил, она вошла в память, с ней многое потом длилось. А тогда ее не было. И быть не могло. Улица Горького в тот вечер была закрыта для прохожих в этом месте, так как тут, где Манежная площадь и улица Горького, слившись, втекают в Красную площадь, стояли войска, репетировавшие парад. Где было ее искать, у какого выхода? Избегался, но не нашел. Безмыслие кончилось, когда вспомнил тот день далекий, и снова обрадовался тому дню, вспомнив, как бегал от выхода к выходу, как мчался по эскалаторам вверх-вниз, приподнимаясь на носки, подпрыгивая, чтобы дальше видеть. Утрата, горе, настоящее горе - так это ощущалось тогда, а было радостно про это вспоминать.

Вот он, Манеж, вот Красная площадь, улица Горького. Вернулся к своим снам. Память наша быстрее всех скоростей. Стоя здесь, на ступенях гостиницы "Москва", он прыгнул глазами в уютный домик, как бы присевший под убийственным солнцем, домик в обступе деревьев, но и в нескольких шагах от барханных волн пустыни. Там-то и снились ему эти купола, Манеж, гостиница "Националь", серый куб телеграфа, и не верилось, что он жил в этих стенах. Сны потому и сны, что не явь. А явью для него стали змеи, ибо в этой жизни, поселившей его в домике на краю пустыни и на краю притихшего в субтропическом зное городка Кара-Кала, он был змееловом. Гюрзы, кобры - они никогда не снились ему, на них обрывался всякий сон. Лишь тень от них падала на сон, как он просыпался, выпрастывая руки, чтобы схватить, прижать, сунуть в мешок. Он скоро научился не бояться змей, не очень бояться, но только нельзя спать, когда они появляются, вот уж спать тут нельзя. И он научился не пускать их даже в свои сны.

Приехал. А зачем? А к кому? Москва была полна друзей, ну, пусть не друзей, приятелей. В Москве был его дом, ну, пусть теперь не его, но там жил его сын - это уж было не отнять. Так

он к сыну приехал? Но бывшая жена просила не появляться: она вышла замуж, бывшая жена, у мальчика вот уже четыре года был другой отец, к которому следовало мальчику привыкнуть, поскольку следовало мальчику отвыкнуть от человека, который не заслужил быть ему отцом. Родная кровь? Это все пустое. Что похож на него, еще тогда был похож, в свои шесть лет, до изумления, до умиления, - и это пустое. Одно всего получил он от жены письмецо, когда отбывал срок. Это было даже не прощальное письмо, а разрывное. И там и было обо всем этом изложено, чтобы забыл о сыне, чтобы и не писал и не появлялся, когда выйдет на свободу, дабы не травмировать душу ребенка. Запомнился почерк жены в этом письме, которое искрошил в пальцах. Он не знал, оказывается, как пишет его жена, а она писала, как девочка, как старательная школьница, кругля буквы, ставя запятые с явным избытком, на всякий случай. Ему был неведом ее почерк: поженились без писем, разлучаясь ненадолго, обменивались телеграммами. А жаль, что ни единого письмеца он от нее не получил в пору, когда началось у них - что началось? любовь, что ли? - когда, словом, он решил взять в жены эту статную, с русой косой молодую продавщицу из отдела спортивных товаров, такую неожиданную среди аляповатого спортивного инвентаря, такую из былых, благонадежных времен, чистенькую, ухоженную, полнокровную, не болтливую. Будет хорошей матерью моим сыновьям - решил. Не испорченная - решил. Он тогда верил в свое умение разбираться в людях. С первого взгляда. Вообще шибко верил в себя. Он тогда даже не шел вверх, а взлетал. В двадцать восемь был заместителем директора крупного гастронома, в тридцать два стал директором. И слухи, слухи каждый день нарождались, что ему и повыше место прочат. Он знал: прочат. Друзей было - вся Москва. Нет, он не обольщался, не дураком все же был, знал, что большинство этих друзей не столько к нему тянутся, сколько к его директорским возможностям, но все-таки были ж и истинные друзья, ведь были же? Когда попал под следствие, разом обмелело озеро дружбы. Когда посадили - дно каменистое у того озера открылось. Когда осудили, и дружеского ручейка среди камней не уцелело. Потом, там, в Кара-Кале, видел он такие озера по весне, которые за день-два иссыхали под палящим солнцем. Но может, не там он искал своих друзей? В пустыне, даже в зной, под иным камнем, когда отворишь его, хранится влага. Там и в адов зной жизнь живет. Это он углядел и к этой жизни проникся уважением. Красоты в ней не было, была стойкость.

Так к кому прикатил? Зачем он здесь? Затем, чтобы постоять на этих ступенях, поглядеть на эти старые стены, куполам этим поклониться, которые погорше знали судьбы, чем его судьба, занесшегося, забывшегося, зарвавшегося человека, а ныне - притихшего, поумневшего - поумнеешь! - задумавшегося?

Он так рассчитал, беря билет, чтобы поезд из Ашхабада привез его в Москву в воскресенье. Конечно же был у него кой-какой план, к кому толкнуться в первый день приезда, застать, если повезет, дома. Глаза в глаза хотелось встретиться. Из всех друзей из прошлого выбрал он двоих, только двоих, веря нетвердо, что они его приветят. Он ни с кем не переписывался в эти годы, писал лишь сестре, которая жила в Дмитрове, звала к себе. От Москвы до Дмитрова недолгий путь, но это уже запасной вариант, пристанище на самый крайний случай. Не верилось, что во всей громадной Москве не найдется ему места.

У него сохранилась толстая записная книжка, заполненная фамилиями и телефонами, как какой-нибудь городской справочник. Выпускались когда-то в Москве такие - справочники и так и назывались: "Вся Москва". Вот из этой "всей Москвы" два адреса, два имени еще продолжали светиться для него надеждой.

Константин Бугров, просто Костик, с которым вместе кончал Плехановский, но только тот на троечки, а он на пятерочки, который так на троечках и дальше зажил, без взлетов, но и без срывов. Бухгалтерствовал в каком-то тресте с многобуквенным, не выговорить, названием. Наверное, и сейчас в том же тресте, за тем же делом - смолоду старичок. Но добрый старичок. Отзывчивый. Влюбленный во всех своих однокурсников и однокурсниц. Собирает их всех по каким-то там лишь ему памятным табельным институтским датам.

Нет, сперва не к нему. Сперва к человеку острому, злому, недоверчивому, хваткому, из бывалых разбивалому. Об этого человека можно удариться, как об стену. Но он может и пустить к себе, может обернуться добрым, сочувствующим. А уж поймет все. Их связывали когда-то общие дела, но связи эти не были прослежены. Этот человек умел рубить концы. Совсем не лучший из его бывших друзей, чуть ли не самый темный, но вот в него все же верилось. Не хлипкий был человек, не трусливый, не увертливый. Сперва к нему, к Петру.

2

Медведково. Проезд Шокальского. А потом до десятка одинаковых домов, разбросанных на участке так, как бы это мог сделать ретивый малыш, которому наскучили его кубики. Отшвырнул рукой, отшвырнул ногой. Оказывается, малыш-то был архитектором. Это он не шалил, а так представлял некий микрорайон, некое организованное пространство. Да и малышу этому, наверное, было лет за пятьдесят, и был он руководителем архитектурной мастерской, ведавшей застройкой сих мест. Найти нужный дом среди этих кубиков было делом непростым. В адресе, который он отыскал в своей записной книжке, значился и номер дома, и номер корпуса, а вдобавок какие-то были еще указания, куда свернуть, что где на стенах прочесть, какому цвету стен верить. Он бывал в этом доме, где жил Петр Григорьевич Котов, раз десять, знал все подходы к нему, но, как в барханах, чуть углубись в них, сразу же заплутался здесь в похожих, как гребни барханов, стенах. Там, в пустыне, он довольно скоро научился запоминать приметы - чахлый кустик какой-нибудь, сохлая ветвь саксаула, ювелирно обглоданная кость, которые вели его, выводили. Здешние приметы позабылись, скрылись за своей одинаковостью. Он долго блуждал от торца к торцу, на которых были крупно выведены номера корпусов, прежде чем нашел тот, что был ему нужен. Глазами он этот дом не узнал - за пять лет каким-то другим стал этот дом, не постарел, рано бы вроде, но потускнел, обжился. Про женщин говорят - обабилась, про мужчин - заматерел. Про этот дом, пожалуй, можно было сказать, что он обтек, а еще точнее - поник.

Вот в этом поникшем доме, хотя достаточно еще представительном, длинном и многоэтажном, в его четвертом подъезде от края, в квартире на первом этаже, как войдешь по правую руку, и жил Петр Котов.

Вошел в подъезд и остановился. Что ждет его за этой дверью с тоже потускневшей обивкой? Медные шляпки нарядных гвоздей раньше блестели, теперь не блестят. Откуда он взял, что за пять лет ничего не переменилось у Котова? Дом вот - бетон и железо, и тот переменялся. Испугала эта потускневшая обивка. Надо было написать все же. Но можно и позвонить. Мол, приехал, нахожусь тут поблизости. А как же тогда с желанием нагряться и встретиться глаза в глаза? Это было яростное желание, выношенное там, под солнышком, которое жгло близко к ста градусам. Нет, глаза в глаза! Уж какие мы есть! Он резко нажал на дверной звонок. Да что там, как ни жми, звонок этот по-дамски пролопотал что-то уютное, мелодичное. И на звонок откликнулись не сильные шаги - Котов сам всегда открывал, - а шарканье тапочек. Но дверь отомкнули сразу, а Котов не сразу открывал, прикинул сперва к глазку. Раньше тут сторожились, теперь не сторожатся. Не съехал ли?

Отворилась дверь, незнакомая женщина в белом халате стояла перед ним. Какая-то без возраста, без цвета. Главным был в ней запах, она вся пропахла, пропиталась запахами лекарств, она была, как валерьяновый корень, если его потереть пальцами и втянуть в себя воздух.

Он пробормотал, принюхиваясь, оробев, изверившись в своей затее, но узнавая по верх головы женщины мебель в прихожей, узналась и зимняя шапка Петра - богатый пыжик,

почему-то оставленный и на лето рядом с летней задиристой кепочкой.

- Я к Петру Григорьевичу... Он дома?

- Где же ему быть?

Теперь не только от женщины наплывал лекарственный запах, а отовсюду он наплывал - из коридора, из-за неплотно прикрытой двери в комнату, Петра комнату. Болен! Лекарства пахли дорогой вонью, незнакомой. То была зловещая, опасная вонь, так воняет беда.

- Кто ко мне? - послышался голос Петра Григорьевича, его голос, без обычного напора, но его, его голос. Отлегло! Ну, болен, с кем не бывает. А лекарства такие, потому что богат, потому что все может достать - из заморщины, хоть с самой Луны. Тогда мог и теперь может.

- Это я, Петр Григорьевич! Павел Шорохов! - Он кинулся к двери, распахнул, увидел с порога и близко Петра, высоко лежащего на подушках, его глаза - вот они! - но то были не его глаза, не Петра, у того таких глаз, таких громадных в пол-лица глаз сроду не было, и не сумел, не решился, не получилось у него в них взглядеться.

- Ждал. Входи. Уведомлен, что срок тебе срезали за хорошую работу. Еще год назад. А где пропал этот год? Я ждал тебя.

- В Кара-Кале. Это в Туркмении.

- Тихо небось там, в этой Кара-Кале?

- Тихо.

- Хорошо. Чего лучше, когда тихо. И тебя, значит, на тишину потянуло?

- Потянуло заработать перед Москвой.

- Что же там, в Кара-Кале, золото нашли? Уран?

- Нет, там змей отлавливают. Кара-калинский серпентарий. Не слыхали?

- Слыхал. Забыл. И кем ты там?

- Змееловом.

- Павел Шорохов - змеелов? Думал, больше ничему не удивлюсь, а вот ты меня, Паша, удивил. Чем это тут запахло так хорошо? А, дыня у тебя. У нас с рынка дыни не пахнут почти. Их для продажи на химии растят. Громадные выходят, но без вкуса, без запаха. А кому печаль? Лишь бы продать, схватить побольше. А ты, Паша, из своей тишины, от таких вот райских дынь, от змеек своих бесхитростных прикатил в Москву. Виноват, тут сын у тебя, виноват.

Пообвык немного Павел, стал поглядывать на это лицо, ополовиненное глазами. А голос и совсем был почти тот же, все та же усмешечка в нем жила, про что бы ни говорилось.

- Лена! - позвал Котов. - Мне бы кусочек дыни! Можно?

- Все вам можно. - Женщина вошла, приняла из рук Павла дыню и вышла, оставив после себя лекарственный шлейф.

- Вот медицинскую сестру ко мне приставили. А из больницы я сбежал. Поверишь, не думал, что столько там жулья. Врачи тебя пугают, чтобы побольше содрать. Лекарство наинovelшее достал, так его подменяют, перепродадут. Ну, чистая психотерапия. Сбежал. Профессура и

сюда может подъехать, если соответственно вознаградить. А мне не жаль, берите, но только голову не задуривайте. Ну, грыжа, знаю, что грыжа. Помнишь, я бился на мотоцикле лет с десять назад? Вот с той поры. Дурак, конечно, не придал значения. - И вдруг стоном: - Ах, какой дурак! Господи, какой дурак! От пустяковой тогда операции отказался! - Напрягся, сжался, прихватывая свой крик: - Все, все об этом, все, все. Ну, так что же мы с тобой делать будем? Вернулся? По новой начнешь? Возьми там в баре коньячку, выпей. Мне нельзя, давно нельзя, но смотреть люблю. Сейчас распорядюсь, чтобы накормили тебя. Сейчас и жена здесь будет - привезет очередного профессора. Ну, Паша, вот это люди! Куда нам! Садись, бери бутылку, рюмку и подсаживайся поближе. Так ты, стало быть, змеелов? Это что же? Как же? Хвать - и в мешок? Риск велик?

- Достаточен.

Верно, хорошо бы сейчас выпить, в самый раз бы выпить. Жаль, что коньяк предложен, стакан бы водки. Павел подошел к инкрустированному серванту, за стеклами которого в большой тесноте жили принцы и принцессы хрустальных, фарфоровых, серебряных королевств. В другом бы доме и один такой бокал был бы украшением всей комнаты, предметом особой гордости хозяев, а тут таких предметов было навалом. Эта выставка богатств была не нова в доме Петра Григорьевича, но заметно побогаче стала, иного разбора, утончились хозяева. Квартира все та же, стены те же, но вещи проникли сюда иные, другого, что ли, сословия. Из купечества как бы во дворянство шагнули. Многого достиг за пять лет Петр Григорьевич. И, похоже, не таится, демонстрирует даже.

- Ну, ну, оглядывайся, оценивай, - услышал Павел за спиной. - Но только не завидуй. Все бы отдал, чтобы змееловом стать. Откуда шрамы на руках? Урки?

- Нет. - Павел вернулся к тахте, поставил на столик у изголовья бутылку, две рюмки, налил себе, налил Петру Григорьевичу.

- Молодец, смекалка с тобой. Хоть и нельзя мне пить, а рюмку наполнить надо. Больные народ обидчивый, мнительный. Молодец, спасибо. Так откуда шрамы? Ну и резанули. Без пощады.

- Здесь сам резанул. Укус фаланги, майской, тут медлить нельзя. Полоснул, отсосал. А в палец гюрза укусила. Когда только начинал. Спасибо Бабаш рядом оказался. Рванул ножом по пальцу, спас.

- Что за Бабаш?

- Директор змеепитомника. Это по должности.

- А не по должности?

- Удивительный человек.

- Понял, ясно объясняешь. Ну, пей, терпежу нет. Поехали! - Петр Григорьевич выпростал из-под простыни, которую до того придерживал у подбородка, руку, исхудалую, не свою будто, пожелтевшими пальцами нежно обхватил рюмку, приподнял. - Будь! С возвращением!

Павел выпил.

- Повтори!

Павел налил и снова выпил. Коньяк был маслянистый, легко проглатывался, незнакомым и пустяковым показался напитком. Отвык от этой французской дребедени. Про это и сказал, облегченно вздохнув:

- Пустяковый все ж таки напиток. Легковатый.

- Вот, вот, в этом и смысл. Полегчало? А то, смотрю, испугался за меня. Ничего, выпрыгну. Как думаешь?

- Вам ли не выпрыгнуть.

- Верю, что веришь. Попробую, попытаюсь. Мне, знаешь ли, лекарства из Швеции, из Югославии самолетами доставляют. Неужели во всем мире нет лекарства, чтобы с моей грыжей не совладало? Достану! Куплю!

Вошла сестра, неся на тарелке крошечную дольку дыни, аромат которой, как тонким лезвием, прорезал воздух, лекарственное это удушье, и посулил надежду.

- Вот оно - чудо! - У Петра Григорьевича затряслись пальцы, когда брал дыню. - Поправлюсь, уеду в твою Кара-Калу! Не шутя говорю, уеду. Тишина, такие дыни...

- Вот еще помидоры. - Павел торопливо открыл чемодан, вынул, поднял на ладони громадный помидор, сразу же тоже заявивший себя терпким, сильным, на земле и солнце настоящим запахом.

- Можно, Лена?! - взмолился Петр Григорьевич. - Вот оно - чудо!

- Вам все можно, - сухо сказала сестра и унесла помидор.

- И верно, отчего нельзя, если душа просит. С душой надо советоваться медикам, взглядеться больному в душу, а тогда уж лечить. - Петр Григорьевич руку вскинул, когда произносил эти слова, веруя произносил. Но тут же сам себя и опроверг, усмешливо покривив губы: - Да только где она, эта душа, где? Как ее ухватить, Паша? Ты свою нащупал, беседуешь с ней?

- Нет.

- Ты какой приехал? Злой? Смирный? Счеты будешь сводить? Или простил? Меня простил?

- У меня к вам претензий нет.

- Ну-ну. Должны быть. Ты загремел, а я даже в свидетелях не побывал. Должны быть. Да какой спрос с больного! Верно, какой с меня спрос? Но я тебе помогу, Паша. Деньгами...

- Деньги у меня есть на первое время.

- Будешь жить пока у меня. В комнате сына. Он в армии. Там, правда, мой мотоцикл стоит. Отодвинешь его к стеночке. Да, вот так, отдал сына в армию, не стал ходы искать. Может, чему и обучит эта армия, пока отец болеет. В отца сын. А когда сын в такого отца, как я, отцу болеть нельзя. Что там, в Афганистане, ты ведь из тех мест?

- Кара-Кала на иранской границе. Там, как обычно, пограничники.

- Трудная служба? Жара, змеи вот. Еще зашлют парня в твою Кара-Калу.

- А сами собрались туда ехать.

- Я - другое. Мне - доживать. Ладно, хватит обо мне. Когда сына собираешься наведать?

- Мне отписано, чтобы исчез из его жизни.

- Гляди! Какая бабеночка была робкая, уютная. Ох, бабы!



- Она вышла за другого.
- Знаю. Ох, бабы, бабы! Из нашего профсоюза паренек, но какой-то никакой. Этот бы ножом себя по руке не полоснул, а уж в змееловы бы и подавно не сунулся.
- На сына все же взгляну. Хоть издали.
- Учти, сыну твоему помогали.
- Кто?
- Неважно. А она брала. Регулярно. Учти.
- Мне сестра посылала посылки все четыре года. Щедрые посылки. С ее-то зарплатой. Вы?
- Правильно, что помогала. Сестра, родная кровь.
- А ей помогали вы, так?
- Неважно, неважно, Паша. Мой тебе совет: встанешь на ноги, отбери сына.
- Думал об этом.
- Ты за эти пять лет, наверное, обо всем подумал. Сейчас здесь придется передумывать. Жизнь не обдумаешь. Человек предполагает, а бог располагает. Выпей-ка еще, и я с тобой... мысленно. Лена, где тот помидор? Тащи угощение!

Вошла Лена, неся на тарелочке крошечный ломтик помидора.

- А ему? Да не чинись ты, сестра милосердная. Ну, поухаживай за молодым человеком, окажи милосердие. Как же пить без закуски?
- Мне ничего не нужно, - сказал Павел.
- Мне нужно. В моем доме пьешь. Лена!
- Сейчас принесу. Может, отдельно пообедаете? Больные не всегда любят, когда рядом с ними едят.
- А я люблю.
- Да мне ничего не нужно, я сыт.

Сестра ушла, снова оставив после себя лекарственный шлейф и еще какое-то сродни запаху неудовольствие, которое исходило от нее, поскольку больной явно вел себя не по правилам.

- Уколы делает замечательно, - сказал Петр Григорьевич. - Рука крепкая, а душа добрая. Представляешь, девица.
- Точно установлено?

Впервые они рассмеялись, к мужскому потянувшись беседованию, когда вот коньячок на столе. Павел снова налил себе, хотя пить ему не хотелось. Не так, не с того все у него в Москве начиналось. К разному был готов, но не к поверженному этому человеку, к этой больнице на дому. Помнится, зарекался, что пить вообще не будет первое время в Москве, ясную сбережет голову. А только вошел в первый дом - и сразу за коньяк. И весь план разговора с Петром Григорьевичем - а план был - порушился. Так, глядишь, все и пойдет наперекосяк.

- Больше не пей, раз не хочешь, - сказал Петр Григорьевич. - И мне расхотелось. Что же, на новый виток пойдешь по старой дорожке или какую-то новую для себя жизнь наметил?

- Много чего наметил, мало чего могу. Надо начинать работать. А что я умею? Змей ловить в Москве негде. Экономист без права финансовой ответственности никому не нужен. В приказчики, может? Но тут тоже надо, чтобы захотели взять.

- Поглядим, помозгуем. Ты что-то пал духом, Паша. Вошел в комнату одним, а сейчас другой. Неужто из-за меня? Плох так?

Вернулась Лена, неся на подносе тарелки с закуской. Павел перенял у нее поднос, радуясь, что можно отвести глаза от спрашивающих, мудро-зорких глаз больного.

- Лена, может, и вы с нами? - Павел протянул ей свою рюмку.

- Я не пью! - отпрянула от рюмки сестра.

- Она у нас девица скромная, - сказал Петр Григорьевич.

- Вся беда от водки.

Павел вгляделся: оказывается, она была еще совсем молодая, ну, лет тридцать. И что-то даже миловидное было в ее лице, сжавшемся, наперед приготовившемся к морщинам.

- Мужика бы тебе, Лена, балагура, пьяницу, рукося, - сказал Петр Григорьевич. - Расцвела бы. Павел, займись. Хочешь, сосватаю? На старости лет будет кому уколы делать.

- Я на вас сердиться не могу, Петр Григорьевич, - обидчиво распрямилась сестра.

- Потому что больной?

- Потому что выздоравливающий. - Явная ложь смутила ее. - Как я надеюсь...

- Спасибо. Солгала, но спасибо.

- Я на вас сердиться не могу, а на вас сержусь, Павел. Простите, что без отчества. Нас не познакомили. Сержусь. Больной устал. В больнице бы вас к нему на три минутки допустили. И никаких коньяков.

- Сергеевич он по батюшке, - сказал Петр Григорьевич. - Потому я из вашей больницы и сбежал, что там и не лечат, и свободы нет.

- Сбежали, потому что могли себе позволить. Самоуверенности в вас много.

- Избывает, Лена, избывает. Уж и не знаю, чего там во мне много, осталось ли что.

- Человек вы большой силы, Петр Григорьевич, - уважительно сказала Лена. - Я потому от вас все и терплю, что сильный вы человек.

- Добрая душа, спасибо. Вот, Паша, ты появился, и Лену не узнать. Живое к живому тянется. Леночка, взгляни на его руки, на шрамы эти. Знаешь, кто он? Змеелов! Скажи, любят бабы такие руки, таких мужиков прокаленных?

Лена серьезно, внимательно оглядела Павла, как, наверное, осматривала больных, слагая о них первое впечатление.

- Отчаянные, может, и любят, - сказала она и быстро вышла из комнаты, спеша на раздавшийся певучий звонок.

- Профессор по мою душу, - сказал Петр Григорьевич. - Паш, ты погляди на него, сложи свое мнение. Не жаль тех денег, жаль шарлатану себя вверять. Эх, подняться бы, подняться бы!

А там, в коридоре, уже властвовал уверенный, благонадежный, раскатистый бас. Там, за дверью, начинался ритуал, священнодействие, предшествующее вхождению врача к больному. Там в ванной руки мылись под громко пущенной струей, там некие отпускались шуточки, когда сестра протягивала крахмальное полотенце, там тысячи раз повторенное в кинофильмах, а все же сохранившееся и в жизни совершалось профессорское это потирание ладони о ладонь и проборматовалось профессорское это, заштампованнейшее "ну-с!".

Театральным жестом широко распахнули дверь, и в комнату вступил профессор - тот самый, ожидаемый. Он был высок, тучноват, румян, седовато лыс, у него были жизнелюбивые, сочные губы. Из-под крахмального коротковатого халата выпирал, бахвалясь, добротный костюм. Уверенность, осведомленность, благонадежность вступили в комнату.

Павлу было велено сложить свое мнение о профессоре, и он принялся его разглядывать, хотя все сразу угляделось, по поверхности этот человек себя отработал наилучшим образом. Стереотип благонадежности - как раз то самое, что необходимо больным и еще больше родственникам больных, чтобы уверовать во всемогущество врача.

- О, коньяк! - жизнелюбиво пробасил профессор. - Отлично! Убрать с глаз долой! Елена Андреевна, вы, я надеюсь, не забыли своих обязанностей?

- Помню. - Еще больше ужалось ее молодое, к старости склонявшееся лицо. Павлу показалось, что она отозвалась и без почтения, и без трепета, но заскучала.

- Вы - кто? - услышал Павел. - Родственник? Визитер? Не дела ли принялись обсуждать? Приезжий?

- Визитер, - сказал Павел.

- Друг, приехал вот из Кара-Калы, - сказал Петр Григорьевич. Представляете, змеелов.

- Отлично, отлично. Прошу вас оставить нас, уважаемый товарищ змеелов. Елена Андреевна, проводите товарища со всем этим припасом в соседнюю комнату. - Профессор повернулся к Павлу спиной, загородил собой больного. Ну-с, дорогой наш Петр Григорьевич, займемся-ка делом.

Павел вышел следом за Леной в коридор. Она плотно прикрыла дверь, устало приткнулась плечом к косяку.

- Какое дело? - шепнули ее губы. - Погибает человек...

3

В узкой комнате, во всю длину которой разместился мощный, загадочный, похожий на уссурийского тигра мотоцикл фирмы "BSA", прошла первая ночь Павла Шорохова в Москве. Мотоцикл живым представлялся существом, хотя давно застыл на деревянных креплениях и, пожалуй, изверился, что его хозяин когда-нибудь сядет в седло и рванет бесстрашно, как это только он умел, смел. От машины живой приструивался запах, теплый, не машинный. Еще, казалось, не остыло тепло рук Петра Григорьевича, собравших своего тигра, вдохнувших в него жизнь. Петр Григорьевич, обзаведясь очередным таким зверем, сперва до последней гаечки разбирал его, неделями потом совершенствовал, не веря никаким фирмам с их

изощренными инженерами и мастерами, а затем собирал, и выходила из его рук машина сил лошадиных на десять сильнее, чем то было обозначено в паспорте, выходила маневренней, сбросив килограммов на пять "жирка", заполучив какие-то особенно зоркие фары, особенно цепкие тормоза. Это занятие, эти вот механические тигры, которым была отведена комната в квартире, ради которых и в первом этаже поселился, столь не престижном для москвича, - это было делом для души у Петра Григорьевича, а может быть, и вообще его делом на земле. Гонщик, механик, изобретатель. Это и осталось с ним, хотя был он, сколько Павел знал его и до того, как узнал его, директором небольшого винно-фруктово-овощного магазина. Сперва одного, потом другого, третьего. Адреса менялись, магазины были все такими же, не очень большими, не очень нарядными, с хорошим, впрочем, сколь было возможно, ассортиментом полагающихся в них товаров. Засиживаться на одном месте Петр Григорьевич не любил и друзьям не советовал. Уходил не тогда, когда "уходили", а в самый разгар успеха, налаженности в работе, когда в районе все начальство души в нем не чаяло, вот тогда-то он и уходил, "менял - его слова - шубу". И снова налаживал, улучшал работу, поднимал "торговую точку до восклицательного знака" - и снова уходил. С добрым именем, с высокой репутацией, а главное - Шорохов это потом понял, там, когда времени было много, чтобы все обдумать, - главное, что уходил Котов, не успев увязнуть в отношениях, легко порывая нити, а не тенеты, которые образуются в торговле долголетней работой на одном месте. И не хочешь, а образуются. Эти тенеты и сгубили Шорохова. Он думал, что всегда сможет сбросить с плеч все там веревочки приятельств и обязательств, а попытался - и не смог. И потащило его на дно, вот именно что запутался. Где сам виноват, где другой виноват. Вдруг все эти "надо", "должен", "обязан" подняли голоса. Вдруг сам себе перестал быть хозяином.

А Петр Григорьевич Котов, как тот известный шахматист, его однофамилец, мог бы тоже именоваться гроссмейстером. В торговле. Но точнее будет, в той игре, в той науке, имя которой - жизнь. Менял свои магазинчики, гонял на своих звереподобных мотоциклах. Сказочно богат был, но не ухватишь, как и не догонишь, когда мчал он по шоссе. Откуда такой? Как стал таким? Ходили всякие слухи про прошлую жизнь Петра Котова. Рассказывали, что он из инженеров, что действительно был когда-то изобретателем, но где-то в чем-то не повезло, но сломалась судьба, говорили, что даже сидел он, правда, недолго, а уж потом вот и толкнулся в торговлю, оставив себе для души свои мотоциклы, возможность эту рвануть по шоссе со скоростью смерти и уцелеть. Он никогда не участвовал в гонках, кроссах, ему не нужны были призы, ему нужна была скорость, это чувство одоления оробелости души. Вот каким человеком был Петр Григорьевич Котов, каким разглядел его, пытаюсь понять, Шорохов, когда раздумывал - день за днем, день за днем - о своей жизни, своей неудаче, своем провале, беде своей.

Бессонной получилась ночь. Тот завод, с которым прикатил в Москву, пружина та, закрученная им до отказа еще в пути, раскручивалась теперь впустую, расходовалась на мысли, на спор с собой, на вопросы к себе. Не вышло, не удалось его возвращение в Москву, первый день огорошил неудачей. Человек, на которого надеялся, оказался смертельно больным, поверженным. Жена Петра Григорьевича, красивая, но, жаль, непомерно толстая женщина, почти не узнала Павла, занятая своей бедой.

- Что ж, поживите пока у нас, - сказала. - Раз Петр Григорьевич так распорядился... Верно, ему будет повеселей... - И весь разговор, и в слезы. - Лена, постели товарищу, сделай милость. - И ушла, по-старушечьи шаркая полными ногами. А Павел помнил Тамару Ивановну царственно красивой, громогласной, плывущей в шаге, легкой, поворотливой, несмотря на полноту.

Беда, несчастье жило в этом доме, где пришлось ему заночевать и, возможно, придется прожить несколько дней, если действительно Петру Григорьевичу с ним будет повеселей. Не убежать же отсюда. Но не спалось. Своих бед было предостаточно. По сути, он начинал с нуля, прикатил в родной город в сорок лет без двух месяцев, не имея работы, да и права на какую-либо путную работу, прикатил с судимостью, а еще вот со званием - бывший. Бывший

директор, бывший член партии, бывший муж, бывший отец. Стоп! А почему бывший отец? Сын забыл его, наверное, но он ему отец, он Сереже отец, родная кровь, сын был похож на него, памятно похож - себя разглядывая в зеркале, Павел умел вспомнить сына, мальчугана своего, так они были похожи. Стирал как бы ластиком по зеркалу свои годы, свою прожитость, пережитость, беды свои, врезавшиеся в лицо, и проглядывал тогда в нем сын, мальчик, - такие же глаза, синие из глубины, такой же крепкий нос, пробор этот с завитком русоватых, коротко стриженных жестких волос, губы одинаковые, нет, тут ластик ничего поделатать не мог, не стирались отцовские губы, не умягчались. Но такой же была шея у мальчика, крепкой, стройной, морщины на отцовской шее ластик стирал легко. В отца у паренька были плечи, сухие, сильные. Занимается ли он спортом? Отдала ли его хоть в какую-нибудь секцию мать? В двенадцать лет можно и гимнастикой, и плаванием увлечься. Он в двенадцать лет чем только не занимался. Любил бегать на короткие дистанции, получались у него прыжки в высоту. А Сережа, подрос ли? Как его мать кормит? Занимается им? Да что там, новый муж у бабы! Как он с мальчиком? Петр Григорьевич отозвался о нем хуже некуда. Может, все же добрый человек? Не спалось Павлу Шорохову.

Лена, дежурившая у больного по очереди с Тamarой Ивановной, на рассвете поскреблась к Павлу, принесла чай, рюмку коньяку.

- Слышу, не спите. Выпейте это. Чем нервы взбудоражили, тем и надо гасить.

Еще не рассвело даже, серым было окно. В дверях стояла тоненькая женщина в белом халате, держа в протянутых руках стакан и рюмку. Лица было не видно. Только белая одежда и эти вот дары забвения в протянутых руках.

- Вы, как святая, - сказал Павел. - Но я не пью по утрам. Зарок дал. Когда стал работать на отлове, зарок дал Бабашу. Змеелову вообще нельзя пить, а уж утром - это все равно что к смерти себя приговаривать.

- Так вы теперь не змеелов, - сказала Лена. - Но это хорошо, что зарок верны.

- Нет, я и теперь змеелов. Еще не отвык. Да и не знаю, к чему другому буду привыкать.

- Вернетесь в свою торговлю?

- Если пустят.

- Там честно-то можно работать?

- Честно везде можно... А что я еще умею? На завод, на стройку? Кем?

- Трудно вам. А все-таки выпейте хоть чаю. - Лена поставила стакан на пол у двери, чтобы не переступить порога, и исчезла.

Верно, чай помог, крепчайший этот чай, от которого и спокойный станет беспокойным, помог Павлу задремать под утро, но только до самого первого солнечного луча, заглянувшего в комнату. Привык просыпаться с первыми лучами. Привык и в яростную зарядку бросать сразу же тело. Да это и не зарядка была, это был бой, и не с одним, а с несколькими противниками, когда надо падать, прыгать, оборачиваться, и делать это все на миг быстрее, чем те, которые на тебя нападают, а те, которые на тебя нападают, умеют ловить птиц в полете. Это была наука Владимира Бабаша. Не зарядка, чтобы мускулы пели, а выучка в бою, чтобы не погибнуть уже сегодня или завтра, когда выйдешь на работу. Потому-то так и внедрилась в Павла эта наука, хотя проработал он змееловом всего год, даже меньше, если говорить о сезоне отлова, что не было и не могло быть у змеелова выбора. Либо - либо. За год, что поработал, погибло двое парней, старший брат Бабаша погиб.

В узкой комнате, да еще служившей гаражом для мотоцикла или, вернее, клеткой для тигра, трудно было по-настоящему размять себя. И надо было все время помнить, что в комнате через коридор лежит тяжело больной человек. Не вышло на этот раз с зарядкой-боем. Только под душем, меняя воду с холодной на горячую - и рывками, рывками, - обрел немного бодрости Павел. Воду менял и так же, рывками, метался в мыслях от одного дела к другому, какие предстояли ему сегодня в Москве. Первым делом был сын. Взглянуть, хоть тайком. Нет, первым делом был костюм. Надо было купить костюм. Еще рубашку, галстук, ну, словом, все - он прикатил в Москву с маленьким чемоданчиком, в котором лежали четыре тысячи - змееловская его пайка, бритва, смена белья да вот еще пяток сказочно вкусных помидоров, так полюбившихся Петру Григорьевичу. И надо было свидеться с Костиком Бугровым. Вдруг испугался, похолодев под горячей струей, а что если и с ним что-то стряслось. И надо было, надо было, сколько всего надо было. Не зря ли приехал? Москва не принимала, как в непогоду аэродром. А сын? И ведь Москва была его родным городом. Стены ее, здания ее, Василий Блаженный на Красной площади и Манеж они его уже приняли. Метро приняло. Холодная вода, горячая вода. Загудела кровь. Ему всего сорок, даже нет сорока. Он в своей силе, он и в колонии умел постоять за себя, он змей не побоялся, пошел на их быстроту со своей быстротой, на их хитрость со своей хитростью. Так неужели? Нет, он сына украдкой рассматривать не будет, он поговорит с ним. Жена брала от его имени помощь. Стало быть, у него и право на это есть. Право! Не поймешь, что за слово. Простенькое, коротенькое, а ничего не понять. Право есть, а на самом-то деле его нету. Его надо завоевать, вырвать, это право. За что бы ни возьмись, о чем бы ни подумай. Было время, было ему легко, слишком легко. Вот за это и платит. За все надо платить. Ошибка - плати. Думаешь, увернулся, забыли счет предъявить. Не надейся, предъявят. Через год, через пять лет. Хорошо бы и самому предъявить этот счет. Есть кому. Горячая вода, холодная вода - бушует кровь. Вот так! Вот так! Еще, еще круче!

4

По записочке от Тамары Ивановны тут же, в Медведкове, в совсем вроде невидном магазинчике, купил Павел финский отличный костюм, рубашку с кружевцами на груди, как для жениха, выбрал галстук не из худших, нашлись и хорошие туфли, тоже финские. Там же, где примерял все это, в комнатенке товароведа, переделался во все новое, бросив в угол свой измученный туркменским солнцем костюм. Расплатился, прибавил сверху - все, как положено, выслушал от товароведа древнейшую одесскую байку про шмаровоза, который, переодевшись, превратился в лорда, и лордом, именно лордом, вышел на Полярную улицу, главный в Медведкове проспект. Высокий, поджарый, черный от загара явно не курортного, синеглазый, сильный, да, да, сильный, ловящий взгляды женщин, этих природных товароведов, а еще и оценщиц, чего вы стоите, мужички.

Лорд-то он лорд, но этот лорд робел в душе. Надо бы сейчас идти к сыну, а он все же еще вчера решил сперва повидать Костика. А что Костик? Главным был сын. Почему его вдруг так потянуло к мальчику, которого помнил совсем маленьким, да он и сейчас еще был всего лишь мальчуганом, встреча с которым сулила одну только боль? Не смог бы Шорохов, сколько бы ни думал, понять, что влекло его так властно к сыну. Инстинкт, любовь - все не то, не совсем еще то, хотя и инстинкт, и любовь конечно же владели им. Но мы хватаемся, когда нам худо, за надежду, это главное, за надежду, как за спасение, а сын сейчас был для Павла Шорохова надеждой. Когда нам худо, когда наша собственная жизнь явно не удастся, мы обращаемся к своим детям, веря, надеясь, что у них получится, что они возьмут от жизни то, чего не удалось взять нам, в детях тогда начинаем искать мы смысл своего дальнейшего существования. Но и это не все. Была вина перед сыном. Все пять лет эта вина жгла Павла. Когда нам худо, мы особенно чувствительны, мы начинаем выучиваться науке понимания,

сочувствия, вины, надеясь, что и к нам так же отнесутся близкие люди. Но и это не все, еще не все. Когда тебе близко к сорока, когда разрушилась семья, померли отец и мать, когда запас твоего времени молодого почти исчерпан, вот тогда-то и начинаешь понимать, что наново зажить очень трудно, что в прошлом, в прожитом надо искать опору. А прошлое было перечеркнуто, и только сын... Но и это не все.

Итак, он все же решил сперва ехать к Костику. От встречи с другом он ждал того подпора, который у друзей только и можно найти, помощи ждал не в делах, не в практических советах, а в неуловимости этой, в дружеском этом участии, делающем нас сильней. А уж потом - к сыну. Шорохов почему-то верил, что в разгар лета сын остался в Москве. То была с горечью уверенность. Зброшен конечно же его Сережка, предоставлен самому себе.

Костик жил в самом центре старой Москвы, на Гоголевском бульваре, в доме из розоватого камня, туфа, кажется. Этот камень добыл для строительства дома, одного из первых довоенных кооперативов, какой-то очень ловкий человек, которого давно уже нет в живых, но который именно этим раздобытым в Армении туфом и остался в памяти потомков. Милый дом, он часто снился Павлу. Не свой, где жил, где родился, но где жила сейчас чужая и враждебная ему женщина, а дом Костика, где провел несчетно сколько времени в студенческие годы, где жило само радушие в лице Костиковой мамы. Крошечная квартирка, две узенькие комнаты с окнами на могучий тополь во дворе, крошечная кухня и запах кофе и оладий. Снятся ли запахи? Снятся. Этот запах кофе и оладий иногда, очень редко, снился Павлу. То был из счастливых сон. Студентом Костик жил бедно. Отец его давно умер, мать работала счетоводом, что-то шила, вязала, Костик тоже где-то что-то пытался заработать, но многого не мог, не сильный был, болезненный. Словом, перебивались мать с сыном. Но дешевый кофе и серые оладьи всегда ждали Павла в этом доме.

Остановил такси, едва только вскинул руку. Таксист аж тормознул рывком. Таксисты, они тоже умеют распознать человека. Могут и тормознуть перед одним, могут проскочить мимо другого. Мимолетный взгляд, чего там углядишь, а углядывают - и скупого, и склочного, и вообще темноватого. Сперва ехали молча, потом завязался разговор, будто накопилось в пути доверие.

- С Севера? Геолог? - спросил таксист, когда недалеко уже осталось до Гоголевского бульвара.

- Как раз с самого что ни на есть юга.

- Геолог? - настаивал таксист. Был этот парень упрям, самонадеян, думал, видно, что все про все понимает. Павел глянул на него, было водителю примерно столько же лет, что и ему. Упрямый, нахмуренный лоб.

- Как живется-можется? - спросил Павел. - Четвертной в день приносишь?

Водитель помолчал, подумал, но решил довериться:

- Когда и больше. Если с аэродрома, если человеку что купить помочь. Москва большая, надо знать, где что лежит.

- Не преследуется эта деятельность?

- С умом надо действовать. А почему интересуетесь, зачем геологу наши дела?

- Я не геолог.

- Ну, свою-то жилу все же нашли. И не белоручка, не головастик. Вот потому и подумал. Кто, если не секрет?

- Змеелов, парень, слышал о такой профессии?
  - О! Сила! По телеку раз смотрел. Приносит? Вижу, что приносит. Плата за страх. Нет, я бы на такую работу не пошел. Пустыня. А мне город нужен. Потом эти змеи, как на них ни гляди с медицинской точки зрения, не подарок. Конечно, ко всему можно привыкнуть, всякая профессия нужна. Да, не угадал.
  - Почти угадал. Геологи рядом с нами ходят. Тот же песок, те же горы, то же небо.
  - Тогда все мы геологи. Та же земля, то же небо, те же реки и моря.
  - Пожалуй, так оно и есть, все мы геологи, все чего-то ищем.
  - Жаль, только смену заступил. С таким товарищем, как вы, посидеть бы возле бутылочки. Ну, а за колючей все же побывали?
  - А что, угадывается?
  - В глазах что-то есть. Да и в змееловы не от хорошей жизни идут. Так или не так?
  - Так, парень, так.
  - Но знавали и другие деньки, поднимала судьба, верно говорю?
  - Пожалуй.
  - Вы простите, что расспрашиваю. Могу и помолчать.
  - Так ведь и я расспрашиваю. Из такси никуда не тянет? Доволен?
  - Такого человека нет, чтобы был доволен. На жизнь хватает, квартиру обставил, цветной телевизор купил. Чего еще? Жена не нудит - нету, нету, давай, давай, - это когда мы красть начинаем. Чего еще?
  - Ну, а за колючей все же побывал?
- Таксист напрягся:
- Так спросили или тоже по глазам?
  - Крап на руках.
  - Ведь свел же почти.
  - Почти.
  - А глаза, по глазам?
  - А по глазам - московский таксист. Я думаю, это тоже школа.
  - Интересный вы человек. Познакомиться бы! Да что, привезу, кивнем друг другу и - навеки.
  - Может, еще встретимся.
  - Не исключено. А настроение не совпадает. Человек к человеку не всегда может потянуться. Я почему сегодня такой счастливый? С женой вчера помирился. Цапаемся мы с ней, но любовь еще не прошла. Уверенно говорю, не прошла.
  - Дети есть? Сын?



- Дочь. В девятый перешла. Поет - заслушаешься. Боюсь, в актрисы пойдет. Вожу я этих актрис. Как повезу, так о дочери все думаю. Раз, был такой случай, спутнику одной актрисочки молоденькой морду набил. Остановил машину, велел выйти и перекрестил по морде. Знал, что всем рискую, но не сдержался. Мразь мужик. Кого только не приходится возить. Со змеями, конечно, опаснее, но и клиент иной не лучше змеи. Нас, таксистов, и бьют, и убивают. Есть случаи.

- Я пять лет не был в Москве. Гляжу, много перемен, понастроено очень много. Ну, а вот в жизни, с людьми как?

- Вопрос не на одну, на две бутылки тянет. Честно, не знаю, что ответить. Вы серьезно спрашиваете?

- Seriously.

- Если серьезно, не отвечу. Изругать все нетрудно, мы и ругаем. Жизнь вроде бы становится лучше, а нам все не так. Верно говорю? Но если серьезно, сами разбирайтесь. Для вас - одно, для меня - другое. Вот все же думаю в консерваторию дочь отдать. И ведь отдам, примут. А кто я? Таксист всего-навсего, чаевых дел мастер. И квартиру мне дали, ну, не мне, жене, по ее работе. А кто она, моя жена? Обыкновенная ткачиха на "Трехгорке", и даже без каких-то там рекордов. Вот так. Ну, сидел. Отчасти сам виноват. Вот так вот. А ругать, что ж, ругать мы умеем, все умеем. Да и есть за что. Вам какой дом на Гоголевском?

- Вон тот, из розоватого камня.

- Приехали. Визитных карточек у нас с вами нет, так что до случая. Как говорится, это гора с горой не сходится, а человек с человеком... Нет, друг, на чай я со своих не беру.

Хлопнула дверца, укатило такси. Даже не спросил, как звать человека, себя не назвал. А ведь не о пустяках разговаривали. От друга не всегда такой откровенности дождешься, как вот от мимолетного спутника, таксиста, вот что подвез тебя к дому, где жил друг. А там, а с Костиком, какой ждет тебя разговор? Вчера вечером он позвонил ему, счастливо вслушиваясь в взволнованно-радостный голос. По телефону не стали долго разговаривать, отложили все до встречи. Костик был в отпуске, но, к счастью, оказался в Москве, приехал с дачи за продуктами. Женился Костик, снимал дачу, двойня у него - Машенька и Дашенька, это он успел рассказать. Мама жива, включилась в бабушкины заботы, прихварывает, но счастлива - и про это Костик успел рассказать. Узнав, откуда Павел звонит, расспрашивать ничего не стал, главный разговор отложили до встречи. И вот она - встреча, сейчас она начнется. Ну, друг, даже очень хороший друг, и главное, славный, добрый парень, но так уж ли ценим мы такую дружбу, так уж ли важна она нам, когда все у нас хорошо? Живем своей жизнью, встречаемся чем старше, тем реже, пусть даже и в одном живя городе, даже на одной улице, в одном доме. Но для Павла Шорохова Костик сейчас был не таким другом. Все иное, и дружба иная, когда тебе худо, когда начинаешь жизнь с нуля. Вот тогда-то вот и нужен друг. Да, да, не для делания дел, не для конкретной там помощи, а для подпора.

Прошел через арку в доме, вошел в обветшалый подъезд со следами недавнего небрежного ремонта, вошел в старенький лифт - в первый его лифт в Москве по приезде и в первый его лифт за пять лет. Нажал на кнопку и стал возноситься к другу.

Не столько время меняет людей, сколько то, чем это время было для них заполнено. Когда отворилась, еще до звонка, едва только вышел из лифта, дверь квартиры, когда возник в дверях Костик, Павел сперва почти не узнал друга. Конечно, это был Костик, он и протягивал навстречу руки, как Костик, как бы даря всего себя, но столько нежданного было в этом человеке, нового во всем его облике, что Павел внутренне запнулся.

- Тебя не узнать, - сказал Костик, когда они обнялись.

- Это тебя не узнать.

- Прибавил? Убавил?

- Другой.

- Ну, женился, двух дочек отковал, станешь другим. А все-таки, прибавил в весе? В человеческом?

- Прибавил, говорю, не узнать.

- А ты какой-то дипломат, ей-богу! Нет, референт министра. Появилось нынче племя младое, незнакомое. Все про все знают, иностранцы по облику и архипатриоты в душе. Откуда ты такой? Пять лет не писал. Как отрезал! На кого обиделся? На меня? На весь мир? Но я-то не из этого мира.

- Костик, Костик, а ведь мне снилось, как выхожу из лифта, как открываешь ты дверь...

- Входи, брат, входи.

- И говоришь: входи, брат, входи.

- Ты помягчал, Павел.

- А ты повзрослел.

Они разглядывали друг друга, отыскивая в другом что-то свое, для себя.

- К сорока годам повзрослел! А раньше казался тебе мальчиком?

Они вошли в квартиру, теснясь в узком пространстве прихожей, все еще в обнимку, почти в упор разглядывая друг друга.

- Ну, здравствуй, Паша! С возвращением!

- Здравствуй. - Павел вобрал в себя воздух. - Кофе сварил?

- А как же!

- И этот запах мне снился. Еще оладьи.

- Оладьи тебе на даче будут. Входи, у нас все, как было.

- Нет, все по-другому.

- Та же мебель колченогая, богачом не стал.

- А эти игрушки по всем углам, а эти кровати. Пожалуй, ты все же разбогател, Костик. Приметы молодой женщины везде. Разбогател!

Радостно было Павлу смотреть в лицо друга, счастливо откликавшегося улыбкой на его слова. Невысокий, еще больше полысевший, Костик хорошел от своей улыбки, как и раньше, застенчивой, доверчивой, но и с новым, обретенным выражением, которое и меняло все в лице этого еще пять лет назад взрослого мальчика. Теперь это был взрослый человек, сложился человек. Всегда уступчивый, покладистый, этот, глядишь, не уступит, не кивнет против своей воли. Костик... Он перестал быть Костиком. Бугор... Эта кличка институтской поры теперь к нему не приникала.

А Костик свое расследование вел, рассматривал друга.

- Эти шрамы на руках где добыл?

- Сразу все за шрамы мои хватаются. Рубил укусы. Год проработал змееловом в Кара-Кале.

- Так. Ради денег?

- Конечно.

- И вот вернулся с толстой пачкой в кармане, новый, с иголки, чтобы снова в бой?

Они вошли в кухню, подсели к столу, на котором их ждал кофейник, нехитрая закуска, нераспечатанная, какая-то чужая на этом столе бутылка водки.

- Я не пью, но тебе припас. Впрочем, выпью и я за встречу. - Костик стал неумело распечатывать бутылку.

- Дай-ка. - Павел взял бутылку, вдруг удивившись собственным рукам, их силе, рваным рубцам на них, до черноты сожженной солнцем коже. - Да, в бой. Без боя разве что дается?

- Смотря какой бой, во имя чего. Я был в зале суда все три дня. Ты держался хорошо, ты казался порядочным человеком в этой, что ни говори, постыдной истории, когда дюжина умных, умнейших мужиков и баб час за часом и день за днем уличались в подлогах, приписках, в пересортице. Ты казался порядочным, потому что не валил на других. Но я-то знал, что ты укрываешь кой-кого, не рубишь концы, а стало быть, Паша, собственного суда над собой у тебя тогда не было. Проскочить через суд, не замараться сверх меры, не унизиться в собственных глазах и в глазах тех, чье мнение ценил, перед этими бабенками, набившимися в зал, перед твоим богом Петром Григорьевичем и еще там перед кем-то, - вот чем ты тогда жил. Ты был в шоке, так думаю. Ты не понимал!..

- Выпьем, Костя, выпьем, Константин, прервем на минуточку обвинительную речь.

- Хорошо, выпьем! - Обливаясь, Костик выпил, спеша, даже не закусив, заговорил снова: - Ты не понимал, что тебя предают, равняя с собой, все эти жулики! Ты никогда не казался мне волком из их стаи, я считал, что опомнишься, успеешь, что это в тебе наносное пижонство, ну, жадность молодая до больших денег, ну, кружение головы, ну, еще там что-то непрочное, чужое. А ты на суде стал играть их игру. Ты казался мне тогда ослепшим. А потом исчез. Ни строки в ответ на десяток моих писем. Ни одного письма никому. Я решил, что это молчание - добрый признак. Ты обдумывал себя. Жизнь. Врачевал себя ненавистью. К ним?

- Выпьем, Костик, выпьем. А ты все же почти не изменился.

- Нет, ты ответь - к ним?

- Сейчас, вот только выпью для трезвости. - Павел отодвинул крошечную рюмку, налил себе в стакан, почти доверху налил, и стал пить, не ощущая водки, так обжег его этот вспыхнувший разговор. Он не был готов к нему, не для такого разговора сюда пришел, к другу. Он допил, подержал пустой стакан в сильной руке, да, в сильной руке, поглядел через стеклянную муть на Костика, который чуть поплыл в стекле, забавно менялось его лицо - то ширилось, то сужалось, становилось чужим.

- Ты кто, прокурор?

- Я твой друг, Паша. Ты был в институте главным для меня человеком. И потом, я гордился тобой, тем, как ты шел. Мне не чужда зависть, тебе я не завидовал. Я гордился тобой. Даже на суде... иногда...

- Почему не писал никому?... - Павел задумался, трезвый, печальный, водка не брала. - Обдумывал там себя?... Четыре года отбивал день за днем. Работал на лесоповале. Себя перестал узнавать. Бытовики и урки работали рядом. С год пришлось отбиваться, просто отбиваться, пока не поверили, что я не поддамся. Ты красиво говоришь, Костик, ты умно говоришь. Я верю, что ты веришь в свои слова. Не берет меня водка, гляди, не берет. Да, я верю тебе. Но вот ты мне посоветуй, куда мне податься? На сто рублей в дворники? На полторы сотни к конвейеру? в разнорабочие? Ползти лет пять до штукатуря пятого разряда? Ты не понял на том суде, что меня приговорили не к сроку, а на всю жизнь.

- Нет! Это ты, гляжу, ничего не понял. Пять лет кипело в тебе, сейчас кипит так, что водка сразу выкипела, а ты не уразумел. Ну, можно же, можно прожить честным человеком! Наново им зажить! Деньги нужны, согласен, но не любой ценой. Ты заплатил не за всю жизнь, зря ты так, ты заплатил за ту жизнь. Верю, новая - может быть другой!

- Сколько ты имеешь на своем бухгалтерстве?

- Теперь на круг двести пятьдесят. Я главный бухгалтер треста.

- Поздравляю. А жена твоя сколько имеет?

- Она учительница. Сто шестьдесят - сто восемьдесят. Мама на пенсии.

- Еще сто двадцать?

- Нет, девяносто.

- Так, и две девочки. Их надо вырастить, поднять, жизнь им открыть. Не худо бы тебе с женой, с мамой твоей, которая, ну, не знала жизни, а все вязала да вязала, не худо бы...

- Она и сейчас вяжет. И жена вяжет.

- И девочки будут вязать?

- И они будут.

- Вот и я говорю! Слушай, давай еще выпьем немного. Не вяжется разговор!

- Давай. - Костик сам налил, поровну поделив по рюмкам все, что оставалось в бутылке. И сразу они выпили, спеша к спасительному островку, который иногда дарит нетрезвость в море трезвого отчуждения. Выпили, помолчали, вслушиваясь в гул в себе, гася гнев, обиду от непонимания. Даже пожевали что-то, а Павел наклонился к кофейнику, крышку приподнял, понюхал.

- Ну можно же, можно прожить честным человеком, - не уступчиво, хоть и тихо, почти шепотом, повторил Костик. - Мы же русские интеллигенты, советские люди. Это не слова. Стыдно! Лучше всю жизнь вязать, лучше как угодно бедствовать, но знать, что ты честен - перед собой, перед своим народом, - и знать, что твои дети растут в честной семье. Это сколько же стоит - это вот знание?

- Но девочки твои еще спросят у тебя, почему ты не можешь им купить это и это, это и это. У других есть, у них нет.

- Я у матери не спрашивал. Мои девочки поймут, что их отец и мать делают все, что в их силах. Ну, был бы я крупным инженером, художником, артистом, ну, им бы перепало больше. Я такой, какой получился. Мне не выпрыгнуть из себя. Но честным я могу быть.

- А вокруг? А другие?

- Ты себя не замарай. Страна, общество состоит из каждого из нас, а не из каких-то там других. Пусть они, другие, оглядываются и видят нас. Не знаю, как у кого, но в России, Паша, на одном брюхе никогда не умели жить. Мы странный народ. Совестьливый. А если что, мы мучаемся. Ты вот мучаешься. Рад этому. Рад, что водка тебя не берет. Мучаешься. На суде мучился. Обморочный был от стыда. Не от страха, что засудят, а от стыда. Потому я и гордился там тобой. Потому и сегодня ты мне друг. Потому и кричу так. А то бы, ну, выпили, ну, здравствуй, ну, прощай. Гляди-ка, я, кажется, опьянел. Сына повидал?

- Нет еще.

- Как же так?! Я бы прямо с аэродрома кинулся.

- Так это ты. - Павел поднялся. - Не с аэродрома, а с Казанского вокзала. Больше трех суток добирался. Как видишь, не спешил.

- Что ж, и это понять можно.

- Все-то ты понимаешь, Костик. Счастливый. Нет, ты счастливый. Я пойду. Верно, надо взглянуть на сына.

- Но ты еще зайдешь? Позвонишь? Зайдешь? Мама не простит тебе, если... Закатимся на дачу, там лес, речка. Мы даже не поговорили как следует.

Чуть пошатываясь, все же пошатываясь, хотя голова была ясна и печаль, печаль жила в нем, Павел шел по узенькому коридору к выходу, сопровождаемый Костиком, которого качало, он плечами бился о стены.

В дверях снова обнялись, но вышло это по-заученному, не от порыва.

Пригудел лифт, старенький, знавший их студентами.

- А мы иногда и раньше ссорились, правда? - сказал Костик. - Но ведь мирились же. Не сердись на меня. Согласен, не удался разговор. Я не судья тебе. Прости.

Павел вошел в лифт, вскинул руку, прощаясь, захлопнул дверцу, нажал на кнопку, низвергаясь от друга. Он еще успел услышать громко произнесенные Костиком слова:

- Съехал бы от этого Петра Григорьевича! Ведь пустая ж у меня квартира до конца лета!..

5

Он решил к сыну сегодня не идти. Обезволил его этот разговор с Костиком, да и пьяноватым себя почувствовал, очутившись на улице. Решил просто так побродить по Москве, никакими вообще делами не занимаясь. Нелепый разговор, можно было бы усмехнуться да и забыть его. Прописные истины твердил Костик. Красть - стыдно, честно жить - хорошо. Но в жизни как-то все наоборот получается. Одни живут, другие прозябают. Вот прозябать стыдно, а хорошо жить - вот это хорошо.

Перемен за пять лет в Москве было много. На каждом шагу что-то да примечалось. Особенно переменились женщины, втиснувшие свои бедра в узенькие брючки, откровенничающие собой. И даже те, что были в юбках, как-то так научились одеваться, так ярко, с вызовом, что и они, казалось, все время кого-то окликали. Но, возможно, это ему только мерещится, на водке ведь глаза. Женщины смотрели на него, задерживая взгляд, прочитывали его. Вот про

такой знойный денек в Москве, когда бесцельно куда-то идешь, когда отлично одет, когда женщины поглядывают на тебя мимоходом, даже строго, но ты-то знаешь, что это не так, что ты им интересен, много раз мечталось Павлу, особенно там, под палящим зноем кара-калинских выжженных холмов, когда миражило вокруг, пестрые круги плыли в глазах, а слух сторожил сухое шуршание - предвестие змеиного пополза.

Павел вышел к рослому Гоголю в конце бульвара, поглядел на площадь, которую взломали туннели, привычно, как всякий истинный москвич, попадающий в эти места, посочувствовал переменившемуся в лице Гоголю и переменившейся в лице площади и, не ведая зачем, направился к станции метро, вошел в прохладный вестибюль, спустился по эскалатору, заученно одолел переход, не выбирая, вошел в вагон того поезда, который как раз подоспел, покотился, не зная куда и зачем. Одна станция, другая, вдруг взял и вышел, поднялся по эскалатору, выбрался наверх, огляделся, узнавая эти места. Он очутился у выхода станции "Красные ворота". Перед ним машинно гудело Садовое кольцо. Он двинулся к этому гулу, к непрерывной ленте машин, к завораживающему этому движению, у которого к тому же был свой запах, будто эта лента была живым существом, ну, громадной, нескончаемой змеей. Этот запах поманил, напомнил, чем-то обрадовал, хотя пахло удушливо машинной гарью и перегретым асфальтом. Снова двинулся вперед, идя даже не куда глаза глядят, а куда ноги повели. Очутился на Садовом кольце, на правой стороне, если идти в сторону Курского вокзала. Здесь все было затвержено, знакомо ему, так привычно, что и через пять лет не отвлекло внимания на стены домов, все тех же, все таких же, и не думалось, куда он идет, он просто шел, ноги вели, он мог тут пройти и с закрытыми глазами.

Так подошел Павел Шорохов к перекрестку, где Садовое кольцо пересекалось улицей Чернышевского и где вдруг оборвалась знакомая череда стен. Он остановился, недоумевая, куда забрел. И вообще, почему он здесь? Пригляделся: за незнакомым обширным пространством, где раньше тянулись ветхие магазинчики, один из которых по сю пору именовался по имени купца-владельца "Соловей", и где теперь белоснежно красовался в глубине кинотеатр "Новороссийск", так вот, совсем рядом с этим новожителем, через улицу, где робко возвышалась окликнувшая сердце колоколенка, встав плечом к этой колоколенке, открылся Павлу его родной дом. От рождения и до того дня, когда пришли за ним и усадили в машину, похожую на небольшой продовольственный фургон, но только с зарешеченным окном в двери, прожил Павел в этом доме. Вот куда завели его ноги. Не думая прибрел. Он даже взмок от неожиданности, нельзя утром пить, зарекался не пить. Что ж, он пересек улицу с угловым под колокольней продуктовым магазином, захудалым, но очень популярным среди "солнцепоклонников", коллективистов этих "на троих", торопливо проскочил мимо входа, мимо витринных окон, потому что все работавшие в магазине его знали и могли узнать, он был для них когда-то знатным соседом, директором гастронома, не чета этому, и очутился под сенью торцовой стены родного дома. Пять лет назад высоченная эта стена ничем не была украшена, как бы обрывалась кирпично, напоминая, где громадный дом, еще сталинской поры красавец, с этой стороны не достроен, - кто-то все же тогда не решился снести скромную колоколенку, чтобы дать дому окончательный простор. Теперь торец был укрыт громадным рисунком летящего самолета, флагмана Ил-62, и, пожалуй, дом нашел в этом самолете завершение, обрел для себя предполетную устремленность. Теперь, наверное, мальчишки, жившие в этом доме, назывались не "армянами" - в честь магазина "Армения", когда-то, очень давно, разместившегося в первом этаже, потом там был магазин "Молдавия", потом просто винно-овощной, а звались, может быть, "летунами", "крылатиками" или еще как-нибудь, за мальчишек не сообразишь. Сын! Он каждую секунду мог выскочить из арки на Садовое кольцо, каждую секунду могла произойти их встреча, к которой Павел Шорохов не был готов. Взмокший, пьяноватый, даром что в новом костюме, без разлета он был. И с кем-нибудь еще могла случиться сейчас встреча, все равно с кем, все равно некстати. Павел повернулся было, чтобы уйти. Как раз и светофор на той стороне кольца засветился зеленым, толпа пошла по переходу на ту сторону, ничего не стоило нырнуть в толпу. Нет, а ноги вели в арку, ступили на бугристый, наплывами и с выбоинами асфальт,

всегда такой, где много проезжает грузовых машин. В "Армению", а потом в "Молдавию", а потом в вино-фруктово-овощной, где, кстати, какое-то время директорствовал Петр Григорьевич, с которым тогда и познакомился, в магазины эти часто прикатывали громадные фургоны-рефрижераторы со всех виноградно-винных концов страны. Проехал здесь и тот фургончик, на котором увезли Павла пять лет назад.

Вот он, двор, самый обыкновенный для всех. Но только не для него. Да и не очень-то и обыкновенный, если знать историю этих мест. А Павел знал. Тут когда-то было архимандритское кладбище, тут, на этой когда-то московской окраине, на пяточке, приткнувшись к Земляному валу, с незапамятных времен хоронили лиц духовного звания. Потому-то и колокольня тут стояла с пустой ныне звонницей, ставшей прибежищем для голубей. Павел еще помнил во дворе два деревянных флигеля, где доживали свой век дряхлые попы с попадьями. Один флигель обезлюдел и его снесли, один еще должен был стоять под сенью нескольких столь редких в Москве каштанов. Но там уже жили люди не духовного звания, а народец шумный, пришлый, мелькающий - кто въезжал, кто съезжал. Бывшее кладбище давно было затеснено большими домами, но двор, но этот флигель под каштанами и еще высокий, какие ныне не строят, двухэтажный дом посреди двора и в окружении вековых лип - все это было его миром, от самого рождения его, Павла, миром, полным значения, местом историческим, отчасти загадочным. Кладбище, без крестов и надгробий, но все же кладбище. Древние липы, цветущие в мае сиреневыми свечами каштаны. А сколько тут всяких было проходов, потаенных мест, лазов в подвалы. Теперь всем этим владел его сын. Это был не безопасный двор. Алкари в подъездах их дома привыкли распивать свою водяру и "бормотуху". Смешной народ, раз винные магазины тут, то, стало быть, и вся окрестность переходит во владение обладателей бутылки. Впрочем, "своих", живущих здесь, они не трогали. Но случались драки, забредали сюда пьяные женщины, орошалась эта кладбищенская земля то вином, а то и кровью. Парни, вырастая тут, с малолетства учились постоять за себя. Нужная наука, но только сжалось за сына сердце, когда вступил Павел в эти родные пределы. Без отца, без старшего брата трудно тут было расти пареньку.

Он пересек двор, спиной повернувшись к своему подъезду, прошел мимо двухэтажного дома, получившего к Олимпиаде новую, посверкивающую цинком крышу, отчего дом почему-то проиграл, как бы осел под нарядной шляпой, вышел к каштанам. Они были на месте, кое-где еще доцветали свечи. На месте каштаны! Это было доброй приметой. А флигеля за деревьями не было - снесли его, заровняли площадку, вывесив на кирпичной глухой стене объявление, запрещающее прогуливать собак. Как раз тут-то, когда в детстве была у него собака, Павел и спускал свою собачку с поводка. Теперь тут чахлая зеленела травка и собакам сюда было нельзя. Но какой-то мальчик, худой, вытянувшийся, в завидно по нынешней моде затертых джинсах, в коротковатой ему майке, все же выгуливал именно здесь своего щенка, обучал его чему-то, что положено знать эрделю. Пожалуй, рановато начал учить - у песика еще даже в лапах устойчивости не было. Но порода была видна, замечательной золотистой масти был щенок, широкогрудый, высоко держал голову, не вилял, не мотал без нужды обрубком хвоста. Отличный пес. Мальчик учил его, кидая от себя палку, досадовал, что щенок не понимает задачи, снова кидал, то приближаясь, то удаляясь от Павла. Раз-другой взглянул на него. И вдруг быстро подошел к Павлу, спросил:

- Вы мой папа?

Вот когда начинаешь платить. Родного сына не узнал. А родной сын, хоть и узнал, спросил, как чужого: "Вы мой папа?" Вот когда начинаешь платить сверх того, что уже заплачено, когда сил больше нет, никаких больше нет сил.

- Я твой папа, - сказал Павел, заставляя себя улыбнуться. - А я смотрю, Сережа мой. Здравствуй, Сережа. - Достать бы платок, вытереть бы взмокшее лицо. Нельзя. Он шагнул к мальчику, положил ладони на его худенькие плечи ничего драгоценнее никогда не знали его

руки. - Здравствуй, сынок.

Мальчик чуть отстранился от него, от слишком горячо вырвавшихся слов. Не от водки ли, которойдохнул?

- Здравствуйте.

А щенок тянулся к Павлу, скреб мягкими лапами по ноге, встречал, как родного.

- Замечательная собака у тебя.

- Да, у него в родословной все с золотыми медалями - и по отцу и по матери. - Сережа отодвинулся, высвобождая плечи из рук отца.

- Как ты узнал меня? - спросил Павел.

- Как же не узнать? Говорят, мы очень похожи. Я у матери фотографию вашу взял. Ей зачем, а мне...

- А тебе?

- Вас сколько не было?

- Пять лет.

Щенок лизал Павлу руку, потом вспомнил о хозяине, прыгнул, нацеливаясь лизнуть его в лицо, но не достал.

- Теперь вы насовсем вернулись?

- Насовсем, Сергей, ты говори мне "ты". Условились?

- Хорошо. Я своего отчима отцом никогда не называл.

- Я твой отец. Ну, так случилось, так у меня вышло, я...

- Я знаю. Мать рассказывала.

Щенок вдруг сел, упершись твердым обрубком в землю, и принялся лаять, недоумевая, сердясь.

- По-настоящему лает! Прорезался лай! - обрадовался Сергей.

- Это он на нас. Давай хоть обнимемся...

- Давайте. Давай.

Они обнялись. Павел поднял сына, поцеловал в угретый солнцем затылок, по-звериному втягивая в себя родной запах, запах своего детеныша. Вот когда начинаешь платить. Судили, приговаривали, всякую боль сносил - не было слез, а сейчас испугался, напрягся, чтобы не пустить к глазам слезы, загнать их назад, в горло.

А щенок прыгал возле них, радовался и лаял, лаял, счастливый, что вот прорезался у него этот замечательный звук, сильный и звонкий.

- Сынок, - твердил Павел, - сынок!

Безлюдный двор - летом все ребята кто где, а с ними и все бабушки и дедушки - все же множеством глаз наблюдал за этой встречей отца с сыном. Много свидетелей набралось. И



из окон двухэтажного дома смотрели, и из дверей во двор магазинов, с балкончиков во двор дома Шороховых, даже из кабин разгружающихся грузовиков. Вернулся Павел Шорохов. Отбыл свое. Пришел на сына взглянуть. Ну, а дома у него нет. Жена не дождалась. Она и не ждала, сразу выскочила за другого. Что-то теперь будет? И уже звонили Зинаиде соседки, те, кто знал ее рабочий телефон, вернулся, мол, с сыном твоим обнимается посреди двора. А оглянись, как это сделал Павел, никого во всем дворе, кроме него с сыном, безлюден двор. Но все же он почувствовал эти взгляды, эти шорохи, поползы, и он еще раз поцеловал сына в затылок, чтобы все знали. Потом они пошли через двор, и мальчик плечом касался руки отца, а щенок кружил, путался у них в ногах и был счастлив.

- Мать на работе?

- Да.

- А этот...

- Тоже.

- Скажи матери, что я дня через два позвоню ей, что мне надо с ней кое-что обсудить. Как ты щенка назвал?

- Тимкой.

- И у меня был Тимка.

- Я знаю. Фокс.

- А ты почему взял эрделя? Знаешь, каким он вымахает?

- С фоксом надо ходить на охоту. Ты же не ходил, и я не охотник. Эрдель сторожевая собака, друг.

- Правильно выбрал. Очень умная порода. Он и сейчас не дурак, а?

Сережа улыбнулся. В первый раз. В том зеркале, в котором стирал себя ластиком, чтобы вспомнить сына, сын его так улыбаться не умел, не получалось у Павла с улыбкой в том зеркале. А улыбался сын хорошо, но скуп, скуп. Вот когда начинаешь платить!

6

Все, хватит на сегодня. Больше никаких встреч, никаких разговоров. Предложи ему сейчас кто-нибудь из этих, из "солнцепоклонников", распить "на троих" или лучше на "двоих", он бы согласился. Но не предложат, не догадаются, что этот нарядный господин, прямой, ходко шагающий, что он почти с ними, почти ихний. Помня, что узнан, Павел круто свернул в противоположную от магазина сторону, пошел к Курскому. Вот уж кого-нибудь из магазинщиков он бы никак не хотел встретить. Пожалуй, лучше всего было вернуться к Петру Григорьевичу, к умирающему этому человеку, которому он был нужен и который ему был нужен. Но ни о чем не говорить. Сидеть рядом и молчать. Худо одному, худо другому. Веселые - к веселым, бедаолаги - к бедаолагам. Человечество делится на удачливых и неудачников. Только так. Все прочие деления от головы, придуманы шибко умными, но одни шибко умные среди удачников, а другие среди неудачников. Вот потому и разные у них теории. Одни хотят сохранить, другие хотят отнять. И вся наука, все там Гегели и Ницше, утописты и социалисты. Все проще простого, не выдумывайте. Не удержался в удачниках -

лети к неудачникам, а там уж как угодно исхитришься, чтобы вернуться назад, в счастливые края, к кисельным берегам. Совесть, честность, про русскую интеллигенцию разговоры - это все слова. Родного сына не узнал вот это настоящее. И то, что он, сын, с тобой, как с чужим, заговорил - вот это беда, горе, неудача всей жизни. Любой ценой, любой ценой!.. А что он может? Куда идти? С чего начать?

Павел поднял руку, ловя такси. Зеленые огоньки проскакивали мимо него, будто угадывая, что он из племени неудачников. Наконец сжалился один частник, хмурый, небритый владелец старого "Москвича", грязно-красно-бежевого. По седоку и карета.

- Куда?

- В Медведково.

- Не пойдет.

- Червонец.

- Ну, садись.

Всю долгую дорогу проехали молча. Только уже в Медведкове процедил Павел адрес, и только тормозя, сказал ему небритый, читая в душе:

- Не горюй, парень, образуется.

Лена встретила в дверях. Всмотрелась в него, распахнув глаза, чуть приняхалась, но ничего не сказала, не стала укорять, не стала спрашивать, хотя ей известны были его планы - сперва новый костюм, потом к другу, потом к сыну.

- Каков наряд? - спросил Павел, выжимая улыбку.

- Артист, прямо артист, - сказала Лена.

- Всемогущая штука деньги.

- Верно, кто этого не знает. Вам кофеек сварить или чай?

- Чай. Крепкий. Самый крепкий. Сейчас бы зеленого чая, нацедить бы его из чайника в пиалу и без сахара, сахар не полагается. Совсем светленький чаек, а горчит, все в тебе промывает. Можно к Петру Григорьевичу?

- Заходите. Но только на минуточку.

- Я рассказывать ничего не буду, посижу, помолчу.

- Ну-ну.

Петр Григорьевич встретил слабо дернувшимися губами - это он улыбнулся.

- Слышал, про гок-чай толковал. Целебный напиток, верно. Надо будет сказать Тамаре, чтобы раздобыла. Попью и я с тобой.

- Самым лучшим номером считается сороковой. Да где в Москве его достать, он весь в Средней Азии оседает.

- Достанет. Если надо будет, в Ташкент позвонит, в Бухару. Вот только до господа бога никак не дозвонюсь. Не хочешь рассказывать?

- Не хочу.

- Помолчим тогда.

- Помолчим.

И стали молчать. Павел сел на стул в ногах, уставился в стенку, выбрав пустое место, где не было фотографий, мебели, картин, ковров. Узенькая полоска всего и отыскалась, полоска дорогих, под штоф, обоев, тоже, как и костюм, из маленькой, трудолюбивой Финляндии. А Петр Григорьевич лежал с закрытыми глазами.

- Ты не рассказывай, ты только скажи, магазинчик мой в твоём доме ещё действует?

Павел кивнул.

- Захудалый вид?

Павел кивнул.

- А мы тогда с тобой молодыми были, когда познакомились.

Павел кивнул.

- Пер ты тогда в гору, все мог, все смел. Я думал даже остеречь тебя. Да разве остережешь нас, таких? Пока сами лбом не стукнемся. Вот тогда...

Павел кивнул.

Вошла Лена, неся на подносе две чашки с чаем.

- И для вас прихватила, Петр Григорьевич. Вы, как маленький, если другой пьет или ест, и вам того же. - Она поставила поднос, стала осторожно приподнимать Петра Григорьевича, подсовывая ему под спину подушки.

- Мы все, как маленькие, а к старости и подавно. - Приподнимаясь, доверяясь рукам сестры, Петр Григорьевич вслушивался в себя, в свою боль в теле, надеясь, все надеясь, что где-то там, в нем, чуть отпустило, иначе болит, не столь грозно, что лучше ему становится. Он вползал спиной на подушки, будто трудную гору брал, и рад был, что вот берет, одолел. - Тащи и для себя, Лена, чашку, вдвоем помолчим, - отдышавшись, довольный собой, сказал Петр Григорьевич.

- Хорошо, - Лена поглядела, как он начал пить, похвалила, покивав, и вышла.

- Только ты ушел, мне позвонил Митрич, - сказал Павлу Петр Григорьевич, все вслушиваясь в себя, в свой голос, как он звучит, когда сел в постели, когда глотнул чаю. - Что-то ему еще нужно от меня. Я велел найти тебе работу. Он обещал. "Все сделаю! Все сделаю!" - передразнивая вдруг тоненьким голоском, повторил ответ Митрича Петр Григорьевич. - Ты подъезжай к нему. Он трусит, а с ним, с таким, только и можно дело делать. Трусит, по голосу понял. Испугался, что ты вернулся, или чего другого? Нагрень к нему сегодня же.

Вернулась Лена с чашкой, села в углу у окна, потом пересела, сообразив, что сидит на самом виду у Павла. Она успела, Павел заметил, причесаться, как-то по-иному, потуже перепоясала халат, от чая ожили ее губы. Она поменялась, похорошела, а ведь чуть дотронулась до себя.

- Молодой в дом вошел, и все ожило, - сказал Петр Григорьевич, нарочно не глядя на вскинувшуюся Лену. - Ты нас не бросай, Паша. Перетерпи мои стоны. Ты нам нужен, от тебя сила исходит.

- Сила... - Павел озяб от своих мыслей или ему холодно стало после Туркмении, он ладонями грел плечи. - Вошел во двор, вижу, мальчик с собакой играет, чужой мальчик, а это - сын. Не я его узнал, он меня узнал.

- Как ему живется? - спросила Лена.

- Плохо, уверен, что плохо. С отчимом не ладит. Не понял, ладит ли с матерью.

- Жаловался? - спросил Петр Григорьевич.

- Нет, но я понял.

- Не горюй, придумаем что-нибудь. Или еще так: придумается за нас. Бог располагает... - Он сморщился, стал сползать с подушек, Лена едва успела подхватить из его рук чашку. - Накатывает, Леноч. - Шепнул: - Уколи...

- Сейчас, сейчас! Побудьте с ним! - Она выбежала из комнаты, а Павел заступил ее место, встав у изголовья, чтобы, как и она только что, поддержать, подхватить, помочь. Но что он мог? Он сам оробел, когда дотронулся до этого сохлого тела, не узнавая, не веря, что это плечо, рука такого сильного человека, каким всегда знал Петра Котова, гонщика Котова, дельца Котова, его еще звали среди своих Петром Великим.

- Езжай, езжай к Митричу, - дергались губы Петра Григорьевича.

Вернулась Лена, неся под полотенцем шприц.

- Идите.

Павел вышел, в коридоре посмотрел на свои ладони, будто спрашивал у них, про что они узнали, коснувшись больного, есть ли надежда.

7

Он снова очутился на улице, снова надо было ловить такси, катить через всю Москву теперь вот к Митричу, лукавому пузану, Колобком его звали, чтобы тот, Христа ради, раздобыл ему какую-нибудь работу. Этот Митрич тогда от многого ушел, и не без помощи Павла, который мог назвать его имя на суде, а мог и не назвать. Павел не назвал, не в Митриче тогда была суть, промельком этот человек тогда был для Павла. Пусть живет, копит свои аквариумы - у него дома все стены были заставлены аквариумами с пучеглазыми золотыми, красноперыми, черными, фиолетовыми обитателями всех морей и океанов. Митрич говорил о своем увлечении: "Рыбки меня кормят, а я - рыбок".

Если Петр Григорьевич менял магазинчики, не засиживался на одном месте, то Борис Дмитриевич Миронов - Митрич, Колобок - лет двадцать работал все в одном и том же рыбном магазине. Свой метод, свою защиту он утвердил в том, что не шел ни на какие уговоры, когда его пытались выдвинуть, повысить, а работник он был знающий, про рыб знал все. Но и про людей тоже. И не шел на уговоры, годы и годы пребывая все в той же должности заместителя директора. Директора менялись, взлетали, слетали, садились, а Колобок пребывал в неизменности. Его даже и подлавливать перестали - у него всегда все было в ажуре. Маленький человек, одна всего страстишка: рыбки. Он и в магазине завел декоративные аквариумы, чем прославил свой магазин, самый обыкновенный, впрочем, из небольших.

Вот к нему, к Колобку, и катил сейчас Павел Шорохов. Нарочно сел на заднее сиденье, чтобы

не вступать с таксистом в разговор, надо было сосредоточиться. Колобок этот был из того списка, вытверженного Павлом, с кем собирался он переговорить, вернувшись, глаза в глаза. От первого разговора зависело многое. Не только в Митриче было дело. Важно было себя заявить, показать, что нет, не Христа ради просит для себя работы, что кое-кто ему обязан и не худо бы вспомнить об этом. Знал, что молва об их встрече пойдет гулять по Москве, что Митрич позвонит тому-то и тому-то, а те в свою очередь - тем-то и тем-то, нет, не самый захудалый из москвичей вернулся домой. Павел бодрил себя, сердил, будто снова встал под душ, меняя горячую на холодную, горячую на холодную, но бодрости, той, какая была утром, в себе не ощущал. Не надо было сегодня ехать к Митричу, не задался день. Но - ехал. И вот приехал.

- Здесь, - сказал он таксисту, - вон к тому "Океанчику".

- Это где аквариумы? - Таксист был не молод, и лицо такое - с усмешечкой, наверняка был коренным москвичом, все про все знающим, вот даже и про аквариумы в этом неприметном на неприметной старой улочке рыбном магазине.

- Знаете про них?

- Как же. Достопримечательность отчасти. И ваше лицо, гражданин хороший, мне припоминается.

- Тоже - достопримечательность?

- Город наш большой, а маленький. Москвича всегда могу узнать. Встречались наверняка. За рыбкой, икоркой? К Митричу? Свадьба, поминки? Я вас, если желаете, прямо к его подсобке подкачу.

- Желаю.

Машина рванулась, развернулась, лихо вкатилась в заставленный ящиками двор, осела на тормозах у обшарпанной двери служебного входа в магазин. И сразу дверь распахнулась, а в дверях - Колобок. Белый халат, белая шапочка, сдвинутая на ухо, круглощекий, со смешливым ртом, облысый лоб обширен, как у мыслителя.

- Встречает? - удивился таксист. - Почет! Но где же это я вас видел?

Так и укатил таксист с наморщенным дуемою лбом. Этот, должно быть, коллекционировал лица.

- С шиком подкатываем! Узнаем Пашу Шорохова! - Митрич пошел навстречу, блуждая маленькими зоркими глазками по сторонам. - Обнимемся?

Павел обниматься не стал, уклонился. Хотел было заглянуть Колобку в глаза, но теперь тот уклонился, бегали его глазки, всюду попевали, все замечали, но взгляд прямой Шорохова обминули.

- Нарядный. Сердитый. Чуть поддатый. Таким и ждал. Пройдем ко мне или на воздухе потолкуем?

- К тебе, рыбкой подышим.

- Прошу, прошу. - Колобок, а был он только за глаза Митричем, при взгляде же на него был он не иначе как Колобком, отворил дверь, пропуская Павла.

Еще дверь, низенькая, для низенького, и Колобок вкатился в свой крошечный кабинетик с нищим совсем письменным столиком, но зато с богатыми по стенам аквариумами, с гротами,

с цветной подсветкой, с подведенными трубочками, пузырьчато питающими воду кислородом. Пол в комнатке был тоже зашарканный, с истертым линолеумом. Все для страсти, ничего для себя лично. Но страсть, заметьте, не постыдная, не барское увлечение - рыбный магазин, рыбе и сердце.

- Вот, погляди, Павел Сергеевич, пять лет назад у меня этой техники тут не было. Вот, Карибское море решил воссоздать в своей подсобке.

- Потом про море. Найдется для меня место? Петр Григорьевич сказал, что ты обещал.

- Не отказываюсь. Как он?

- Еще потянет.

- А я слышал, что худ, плох.

- Еще потянет.

- Дай-то бог. Страшусь, когда такие крупные люди нас покидают. Причудливый народ. Вдруг какие-нибудь дневники после себя оставят, завещания, напутствия. Был случай, один такой целую повесть оставил. Так знаешь, следовательно потом просто зачитался этой повестью.

- Так вот что тебя страшит? Петр Григорьевич угадал, что ты чего-то трусишь.

- Он у нас - угада. Но тут он ошибся. Чего мне трусить? У меня рыбки, а они народ молчаливый. Я и людей молчаливых уважаю. Тебе, Паша, надо помочь. Ты не болтун, поможем. На арбузы, на дыни пойдешь?

- Что?

- Ну, на сезонный товар? Павильон тебе дадим, помощницу огневую. Учти, если забыл, за такую точку люди платят и платят, а тебе даром, по дружбе, как своему. Хотя, ты знаешь, я поборами вообще не занимаюсь, это я к слову. Согласен? Берешь? К концу сезона на ноги встанешь. Материально, конечно. Ну, а морально... Тут, согласен, место не из завидных. Но, Паша, материальный фактор поважнее все же морального. Ну, что уставился, что буравишь? Где я тебе с судимостью лучше место найду? Да ты глянь только, какую я тебе помощницу даю, кого дарю, слезами умываясь. - Колобок шустро выкатился из кабинета и сразу возвратился, ведя за руку рослую, яркую, нарядную-пренарядную смелоглазую женщину. Лет тридцати с небольшим, в самом торжестве зрелой красоты, молодого лета.

- О, этот мне годится! - сказала женщина. Смелость, откровенность были ее стилем. Высокая грудь вырывалась из прозрачной кофточки, из наивного плена узенького лифчика. Одна, две, три золотые цепочки змеились по стройной шее. Одна даже и замыкалась змеиной головкой. Золото было и на руках, сковывало запястья, унизывало пальцы. Было и обручальное кольцо. Женщина проследила взгляд Павла, решила дать разъяснение:

- Муженька я прогнала, а кольцо ношу, чтобы не приставали разные там из робкого племени. Какие у вас роскошные шрамы! Митрич, он мне подходит. Где добывают такой загар? Правда, что вы были директором громадного гастронома?

- Веруля, не пережимай, - сказал Колобок. - Товарищ еще даже и согласия не дал с тобой работать. Так что смотри не спугни. Паша, это она от застенчивости так себя ведет. Но человек она хороший, поверь.

- Да, я человек хороший, вы ему верьте.

- И не беднячка. Но опыта нет, даже считает плохо.

- Так это ж хорошо! - усмехнулась Вера. Прошлась - шаг туда, шаг сюда по крошечной комнатке, щелкнула ярким ногтем по стеклу, пугая заморских рыбок.
- А они чем-то похожи на вас, - сказал Павел, не умея все же отвести глаз от этих стройных бедер, не упакованных, а вбитых в джинсы.
- Тоже во всем импортном? Но неужели я кажусь вам пучеглазой?
- Что вы, что вы.
- Досталось и ей, и Веруше нашей. А веселая такая, потому что веселость - это как визитная карточка для продавщицы сезонного товара.
- Знаток вы, Борис Дмитрич, человеческих душ. Ошибаетесь, я вообще веселая. Все при мне, а? Или не так?
- Соглашайся, Павел. Лучшего места у меня пока для тебя нет. Осенью, к зиме ближе, поглядим. Ну, доставать коньячишко? Икорку метать?
- Потом. Надо взглянуть, что за точка, где.
- Не пугайся, не в центре. Никто тебя в этих местах не узнает.
- А если и узнает, что за беда? - делаясь серьезной, спросила Вера. Деньги человек зарабатывает, а деньги не пахнут.
- Он про это, душечка, знает. Ты с ним не взбрыкивай, как резвая кобылка, он многое знает. Сейчас, к примеру, из Туркмении прикатил, работал там змееловом. Осознаешь, змееловом! Да, да, не курортный на нем загарец. Своди Павла, покажи ваш павильон. Если сладитесь, завтра и товар начнем завозить. Поможем вам, начнете с абрикосов. Самый ходкий товар. Третий сорт хватают, как первый. И-и-и - закружитесь!
- Какой-то ты, Митрич, откровенный стал, говорливый, голосистый, сказал Павел.
- Время откровенное. Когда это продавщицы овощных палаток в золоте ходили, а сейчас ходят. Не мелочное время. Ты чуть поотстал, Паша. Но я за тебя спокоен, за неделю-другую войдешь в курс. Счастливо! Вот телефончик мой. - Колобок порылся в нагрудном кармане и извлек оттуда визитную карточку. - Позвонишь, когда примешь решение.
- Он уже принял, - сказала Вера. - В конце концов не место красит человека...
- У тебя визитная карточка? - изумился Павел. - Ну, Колобок!
- Для подавляющего большинства я Борис Дмитриевич, - построжав, сказал Миронов. - Звони, я тут до вечера.

Улочки здесь разбегались по склонам холма, здесь высоко гляделось, хорошо открывалась Москва. Было время, Павел часто бывал тут, вот по этой тополиной улице проходил вон к тому, из красного кирпича, трехэтажному дому, где жила очень славная женщина. Там ли все еще живет? А вдруг придет к нему за арбузом, узнает, всплеснет руками: "Ты?! Не может быть?!" Она всегда так всплескивала руками, когда он появлялся. Телефона у нее не было, появлялся он внезапно, без уговора, чаще всего уже вечером, частенько пьяноватый. Она

была рада ему, всплескивала руками: "Ты?! Не может быть?!"

Старые тополя, меньше их стало, но все же стерегли еще улицу, тишину в ней. Не думал, не гадал, что окажется здесь в качестве продавца во фруктовой палатке. Вон он, павильон этот, из пластмассы и стекла сооружение, сменившее фанерную маленькую палатку, в которой и раньше продавались фрукты и овощи, где, вспомнилось, купил он однажды килограмм очень вкусных, черных, сочащихся слив. Он вспомнил, как она ела эти сливы, сок стекал у нее по подбородку, оранжевые капельки ползли по шее. Они стояли вон у того окна, и он целовал ее, пахнущую сливой. Дом капитально отремонтировали, в окнах были новые рамы, современные, откровенные, без купеческого ужима. Когда так переделывают лик дома, жильцов куда-нибудь да переселяют. И теперь нет этой женщины здесь, и хорошо, что нет. Наверное, давно замужем, нарожала детей. Давно это было, а все вспомнилось, даже сливы вспомнились, их вкус на губах. Сколько же он понаделал ошибок в жизни! Надо было остаться в этом кирпичном, надежном доме, в этой тополиной мирной тишине, он мог тогда остаться, и тогда бы по-другому сложилась его судьба. Пойдешь направо - коня потеряешь, пойдешь налево...

Сейчас он шел, ведомый, как на поводке, вслед за бедрастой, стройной женщиной, которая все время демонстрировала ему себя, плела, плела паутинку, хорошо зная эту науку.

- Вы о чем все думаете? - спросила Вера. - Не пугайтесь, тут славное местечко. Тишина, и люди кроткие. Тут совсем еще уцелелая Москва.

- Вы не здесь ли где-нибудь живете?

- Здесь. Недавно выменялась. Вот в этом красном доме и живу.

- Господи! - вырвалось у Павла.

- А вы не пугайтесь, там внутри хорошо. Дом после капиталки. Я жила в семье мужа, ну, разменялись. Здесь у меня вполне отличная однокомнатная квартира. Не престижный район? Это как сказать, как поглядеть. Вон они у меня где, эти престижи. - Вера попилила ребром ладони по горлу. Взметнулись ее золотые цепочки, головка змейки легла на плечо. Павел скинул к себе на ладонь эту головку, всмотрелся.

- Кобра. Раздулась. Обозлил ее кто-то. Еще миг - и она кинется.

- Неужто вы были змееловом? Какой вы занятный все-таки парень. Битый, но прочный.

- А почему вы развелись? - спросил Павел.

- Могла бы и не отвечать, но у нас сейчас пойдет все на откровенность, в один, так сказать, ящик. Развелась, потому что кончилась любовь. Это же надо, всю жизнь жестикулировать с нелюбимым мужиком! Кормить его, стирать на него, выслушивать его глупости, подлаживаться к его мамаше. Откровенно говоря, я ему просто стала изменять. Представьте, а он мне. Плюгавенький, а нате вам. Так чего же ради, спрошу я вас? Расплевались, разменялись свобода!

- Вы чего-то не договариваете.

- Правильно. Еще договору, будет минутка. Вот наш дворец. Любуйтесь. Новенький, красивенький. А на каком месте стоит - три улицы к нему подбегают. Как, Павел, начнем завтра, попробуем? - Она взяла его руку, сжала в горячих пальцах, подвела к двери, выхватила из кармашка ключи, вручила. Пашенька, отворяй!

Он покорился, отомкнул один замок, другой, распахнул дверь, шагнул в пластмассовую сладкую духоту. Там, за дверью, Вера вдруг прижалась к нему, упругая и мягкая.



- Я тебе буду верной! - шепнула и отпрянула от него, будто это он к ней прижался.

- Хорошо, - охрипшим голосом сказал Павел. - Звони Колобку, согласен.

- Пойдем ко мне, от меня позвоним.

- Хорошо, пойдем к тебе. Согласен.

Та женщина жила на втором этаже, и когда Павел шел за Верой, он одного только боялся - что она остановится на лестничной площадке второго этажа. Нет, пошла дальше по лестнице, поманила чуть шевелящимися яркими ноготками. Отлегло! А, собственно, чего испугался? Да хоть бы в той же комнате. Ну, совпадение. Вот совпадения и испугался. Не складывалась та жизнь с этой, цвет был иной - у той жизни и у этой, хотя эта женщина, что смело поднималась по ступенькам, была ярче, красивее, пожалуй, что и желаннее, чем та. Но там было все честным, он и сам был тогда честным, ну, как бы всегда умытым, а сейчас он входил в удушливую муть, в неправду, в сладкую пластмассовую духоту. Он знал, все будет, сразу все будет, он хотел этого, его влекло к этой женщине, из лучших, какие когда-либо ему доставались, из худших, какие когда-либо ему доставались. Он понимал, что идет на сделку. Он знал, как это делается, это входило в их науку, в ту всеобщность и денег и тел, что хоть как-то гарантировало надежность, крепило круговую поруку. Сама догадалась или научили? Что за женщина? Через что прошла? Откровенничая, она не договаривала. Но как она шла, как она шла, как обещала себя, совсем скоро, сразу, немедленно. Путались мысли, к чертям летели все мысли, все остережения опыта, он был молод, он оголодал среди змей, в добродетельном том захолюстье, он был готов, оплетен.

И здесь она вручила ему ключи, мол, отворяй, привыкай. У него тряслись пальцы, когда он щелкал замками. А она все строже становилась, будто отрешалась, в себя заглядывала. Он знал, так женщина принимает решение. Конец игре, решилась.

Вошли. Из крохотной прихожей она ввела его в большую комнату с высоким потолком - как ни перестраивали этот дом, а он все же сберег свою купеческую размахливость. Новенькие рамы были вставлены в толстенные стены, мраморные сбереглись подоконники.

Павел подошел к окну, закурил, злясь, что трясутся пальцы. Он думал о женщине, которая сразу же ушла в ванную, злые, скверные находя для нее слова, а сам прислушивался, как, прерываясь, шумит душ, прикидывал, как движется сильное тело женщины, скоро ли она выйдет.

Вышла. В халатике выше колен, круглых, желанных. Встала этими коленями на край широкой тахты, достала белье, начала застилать, старательно разравнивая простыню. И следила еще, чтобы не очень открыл ее халат, засовестилась вот.

Он знал, все у них сейчас будет, все, но эта минута, когда она стелила постель, встав коленями на край тахты, такая домашняя, сосредоточившаяся, чтобы хорошо легла простыня, рождала между ними главную близость, доверчивую близость, а там, потом, через мгновение, все смешается, запутается, обезмыслит их, начнет лгать, выдумывать слова, сомкнет их и разомкнет еще более чужими.

- Иди.

Он рванулся к ней, теряя себя.

А потом, до звона в ушах пустой, лежа рядом, дивясь колотящемуся сердцу, этому высокому потолку дивясь - отвык от высокого потолка, - куря с ней от одной сигареты, так она настояла, слыша и ее колотящееся сердце за мягким, упругим и мягким, слившимся с ним телом, Павел вдруг вспомнил ту, этажом ниже, из той жизни, из высокой.

- Ты опять о чем-то думаешь, - шепнула она.

- А как же не думать.

- Разве я плоха для тебя?

- Ты - чудо.

- Правда? - Она прилегла на него, разнялись ее губы, теперь без краски, но все равно вишневые, нет, сливовые.

- Правда.

- Ты мой, мой, мой теперь, - сказала она.

"Мой! Мой! Мой!" - это был ее вскрик, ее всхлип, когда нагрянуло безмыслие. Она цеплялась за это слово и теперь.

- Что у тебя стряслось? - спросил Павел.

- Не думай, я не с каждым так.

- Я так не думаю.

- О, я могу и заледенеть! Но если уж да, то зачем тянуть?

- Верно, зачем?

- Обними меня... Мой... Мой... Мой... Ох, какой ты мой!..

Был день, когда он вошел сюда, наступила ночь, когда он спохватился.

- А ведь мне надо идти, Вера. Я обещал Петру Григорьевичу ночевать у него.

- Я знаю твоего Петра Григорьевича. Сильный был мужик, не совсем еще старый. Неужели ему конец?

- Я пойду. До завтра.

- Ну, иди. От живого к мертвому. До завтра.

Она проводила его, кутаясь в халатик, который ничего не умел утаить в ней.

Вернуться? Остаться? Чуть было не остался. Нет, будто его кто окликнул, позвал, поторопил даже. Он сбежал по лестнице, выскочил на ночную и днем-то пустынную улицу и сразу натолкнулся глазами на зеленый огонек такси. Кто-то приехал, хлопнула дверца. Удача! Он вскочил в такси, не спрашивая у таксиста разрешения.

- Десятка. В Медведково!

9

Дверь в квартиру была не заперта, а Павел боялся - всю дорогу об этом думал, - что придется звонить, что потревожит Петра Григорьевича. Дверь была не заперта, лишь притворена, яркий свет выбивался из-за двери. Павел вошел. В коридор сразу вышла Лена,

остро и хмуро взглянула на него.

- Где пропадали? Он вас спрашивал!

В коридоре стоял какой-то плотный коротконогий мужчина с копной седых в черноту волос. Он по-докторски крепко потирал руки, белый халат был всего лишь накинут на его сильные плечи. Он к чему-то готовился, маленькую взяв себе передышку перед броском туда, в комнату Петра Григорьевича.

- Что с ним? - спросил Павел, подходя к этому человеку в накинутом халате. Он не задал своего вопроса Лене, чтобы не встретиться с ее хмурыми глазами.

Коренастый не ответил, только развел сильные волосатые руки, признаваясь в своем бессилии.

- Он кончается, - шепнули губы Лены. Она шла за Павлом, все всматриваясь в него, виня его.

- Неужели ничего нельзя сделать? - спросил Павел шепотом у врача.

- Он опоздал с операцией года на полтора-два. Да и не уверен, помогла бы операция.

- Помогла бы! - горячо выдохнула Лена.

- Не уверен, не уверен. Саркома...

Павел не знал всего страшного смысла этого слова, но он знал, что это одно из самых страшных на свете слов, возвещающее мучительную смерть, неизбежную, как после укуса гюрзы, если прошло минут пять-шесть, а ты ничего не успел для себя сделать, потому что один, в песках, потому что тебе не добраться ножом до ранки, не располосовать себя, не отсосать яд, и кровь скоро станет в тебе застывать, схватываться, как алебастр.

Отворилась дверь, и в коридор вышел давешний румяный и рослый профессор. Беспечальным было его лицо: привык к страданиям, врут, видно, те, кто утверждает, что врачи чувствительны, они, скорее, профессионально бесчувственны, чтобы каждый день, каждый день - вот так вот.

- Ваш черед, коллега, - поклонился профессор коренастому, дотрагиваясь до него рукой, как бы передал эстафетную палочку.

- Иду! Лена, вы мне нужны. - Коренастый нырнул в комнату больного, откуда вырвался короткий, оборванный, схваченный, зажатый стон.

- Так зачем же тогда все? - спросил Павел у профессора, когда они остались вдвоем.

- Что - все? - профессор взглянул на карманные часы, прикованные к старинной золотой цепочке, и утратился поздному времени.

- Эти вот заморские лекарства, консилиумы, вы сами? Если саркома, если время для операции упущено, если и операция бы не помогла, так зачем все это?

- Молодой человек, а ведь все очень просто. Наш долг, врачей и родных, близких, сражаться за жизнь больного до конца.

- Не пойму.

- А вы что предлагаете?

- Не пойму. Был сильный человек, умный, дерзкий, гонял на мотоциклах, рисковал,

по-всякому рисковал, жил - и вот нагрязнула эта саркома. Что ж, это как выстрел в спину, как укусы змеи. Чего тянуть?

- Существуют и такие теории, чтобы не тянуть. Я лично за то, чтобы тянуть. Большинство медиков во всем мире разделяют мое мнение. Впрочем, теперь уже скоро. К утру... С рассветом... Вы кто ему?

- Никто.

- Тогда поторопитесь уладить с ним свои дела. Тут уже побывали некоторые. Толпились, как перед спальней отходящего монарха. Кем он, собственно, был, наш высокочтимый Петр Григорьевич? Всего лишь директором магазинчика?! - Профессор, надевая плащ, неумело возился с рукавами. Он повернулся спиной к Павлу, рассчитывая, что тот ему поможет, но тот ему не помог.

- Был?.. Он еще живой!

- Вот видите, еще живой. Еще! Позвольте откланяться.

Снова прорвался из-за двери короткий, схваченный, скомканный стон, не стон, а крик, которому не дали воли. Павел сжался от этого крика, от этого великого усилия человека остаться человеком.

Рыдая, зажимая лицо руками, валко вышла в коридор Тамара Ивановна.

- Идите к нему! Вы ему зачем-то нужны! Господи, все дела, дела! Будь они прокляты!

Пошире отворилась дверь, Лена из глубины комнаты махала Павлу рукой, зовя. Павел толкнул себя в эту дверь, в этот сочащийся лекарствами полумрак. Лампы были зажжены, но их укутали поверх абажуров марлей, и потому в комнате плыл туман, как на рассвете, на берегу широкой реки. А в окне чернела ночь.

Коренастый врач, уже сделавший что-то свое для больного, сейчас, на прощание, высчитывал его пульс, кивая довольно шевелящемуся на губах счету.

- Ночь пройдет спокойно, - сказал он, поднялся и торопливо пошел из комнаты. - Спокойно! - громко повторил он в коридоре уже для Тамары Ивановны.

Лена, отойдя к окну, где Петр Григорьевич, даже если б и открыл глаза, не смог ее увидеть, отрицательно покачала головой, когда Павел посмотрел на нее.

- Нет! - беззвучно сказали ее губы.

Павел подошел к ней.

- Он кончается... Ему что-то надо сказать вам... Подойдите к нему, наклонитесь...

Павел двинулся к Петру Григорьевичу, шел, ступая на кончики пальцев, не зная, должен ли заговорить первым, страхась заглянуть в это строгое лицо с ужатым мучительно ртом. Он наклонился над Петром Григорьевичем, как велела Лена. Это был не отец ему, даже не друг. Он уважал его за ум, за волю, за силу, за смелость. Даже умирал этот человек, не пуская себя в крик, хотя его грызла, пожирала боль. Этот человек был темным дельцом, он так распорядился своей жизнью, так ее прожил, а не иначе. Может быть, он и извелся от такой жизни, от сделанного выбора? Может быть, потому и саркома его ухватила? Он умирал, никакой доброй не оставляя по себе памяти. Он умирал, ничего не находя для себя в утешение, даже сына не сумел воспитать, отбил сын от рук. Вот когда начинаешь платить!

Петр Григорьевич смотрел на Павла, из-под век мерцал его уходящий взгляд.

- Тетрадь... - произнес он невнятно, едва угадывалось слово. Лена... - позвал он беззвучно.

Она услышала, подбежала, наклонилась. Петр Григорьевич едва приметно шевельнул плечом, но она догадалась, подсунула руку под подушки, извлекла оттуда толстую, потрепанную школьную тетрадь в клеенчатом переплете.

- Возьми... Ты поймешь... - Петр Григорьевич еще какое-то сказал слово, но уж совсем невнятно для Павла.

- Он сказал: "расшифруй", - перевела Лена и передала тетрадь Павлу, вслушиваясь в шепот-бормотание умирающего. - Он сказал: "никому..." Он велит вам поклониться к нему, хочет что-то сказать только вам.

Павел наклонился, а Лена отошла к окну.

Зашевелились губы Петра Григорьевича, невнятное дуновение слов коснулось Павла:

- Сына жаль... Жену... Деньги ничего не решают... Обман... - Он устал, смертельно устал, он отпускал себя. Он сказал напоследок, но Павел не сумел понять, что. Короткое что-то: "Будь... Бить..." Павел не понял. Но он понял, что сейчас все оборвется, кончится человеческая жизнь. Вот сейчас! Он громко позвал:

- Тамара!

Она вбежала, наклонилась, оседая на пол.

- Петенька!

Кажется, он ей успел улыбнуться, в улыбке дрогнули его измученные губы.

Пряча тетрадь под пиджак, Павел помнил, что ее надо спрятать, он вышел в коридор. Там курил коренастый доктор в небрежно накинутом на плечи халате. Вместе с Павлом из комнаты в коридор вырвалось громкое рыдание женщины.

- Вот и все, - сказал доктор, старательно, медленно гася сигарету о край пепельницы, которую держал в волосатых сильных руках.

- А вы говорили, что ночь пройдет спокойно, - ненавидя этого волосатого человека, его спокойствие, сказал Павел.

- Так легче уходить, - сказал врач.

- Вам?!

- Ему. Да не цепляйтесь вы. Лучше пойдите и что-нибудь выпейте, если он был вам дорог.

Доктор кончил крутить окурочку, поставил пепельницу на полку, построжал, все же одернул на себе халат и вошел в комнату к Петру Григорьевичу, чтобы установить факт его смерти.

Павел остался в коридоре один. Теперь он мог понадежнее спрятать тетрадь Петра Григорьевича. Он знал, обучен был, и на воле и в неволе, что если велют прятать, то надо делать это незамедлительно. Павел быстро вошел в комнату, где стоял мотоцикл, этот вот осиротевший тигр, которого теперь продадут, сунут в чужие руки и который, кажется, уже догадался о своей печальной участи, сам переставая быть живым, остро запахнув мертвым бензином, мертвой смазкой. Павел добыл из-под койки свой чемоданчик, раскрыл его и положил под пачки десяток, под скомканное грязное белье и еще какое-то свое барахлишко

только что завещанную ему клеенчатую тетрадь. Что в ней? Что предстояло ему расшифровать? Павел захлопнул чемоданчик, закрыл на ключи, затолкал чемоданчик поглубже под койку. Верно, не худо бы было выпить. Он пошел на кухню, спеша проскочить мимо комнаты, где лежал покойник и где рыдала вдова.

Коренастый был уже на кухне и как раз держал в руках бутылку французского коньяка, ту самую, початую вчера Павлом. Только вчера? Ну, позавчера - уже начинался в окне рассвет нового дня. Да, только позавчера он вернулся в Москву, появился в этом доме. Не поверилось, хотя твердо знал, что так оно и есть, не поверил самому себе, что с позавчерашнего лишь дня пошел отсчет его новой московской жизни. Недели, долгие недели вместились в это короткое время, могли бы вместиться. Человек умер. Он сына повидел. Он сошелся с женщиной. Страшное, главное, смутное - вот чем наполнился этот короткий срок его бытия здесь.

- Выпейте. - Доктор протягивал Павлу рюмку. - За него. Не чокаясь.

Они выпили.

- И мне, и я с вами. - В дверях стоял Митрич, вкатился колом, незаметно, бесшумно. - Прослышал, примчался. Горе-то какое! Какой человек ценный ушел! - Он раздобыл в шкафу рюмку - знал, что где тут находится, мягко отобрал у доктора бутылку, мол, близким здесь пришла пора распорядиться, налил сперва Павлу, потом себе, а уж потом врачу, который, если бы спас, был бы на первом месте, а уж если не спас...

- Поехали! Вот тут яблочки. Пастила. Прошу! Помянем! Петра... Великого...

Снова выпили.

- Мне пора, - заторопился доктор. - Все формальности соблюдены, справку я вам завтра подошлю. Полагаю, вскрытие не понадобится.

- Сколько с нас? - потянул из кармана бумажник Митрич.

- Я имел дело с Тamarой Ивановной.

- Это все едино.

- Завтра, завтра, - вдруг смутился доктор, глянув на Павла, в насторожившиеся его глаза. Не понял доктор, что Павел не о нем сейчас думал, не о гонораре его за проигранное сражение, а думал о Митриче, об этом кругленьком человеке, который так по-хозяйски вел себя здесь, прикатив, не дожидаясь утра, едва узнал, что Петр Григорьевич умирает.

- Ну, завтра так завтра. - Митрич пошел провожать доктора и там, в коридоре, видимо, все же всучил ему положенный гонорар. Павел услышал, как доктор благодарил Митрича, а Митрич благодарил доктора, как доктор счел нужным что-то там объяснить, а Митрич счел нужным его утешить.

- Все мы смертны...

- Именно, именно...

Хлопнула дверь. Всё! Вот только сейчас дошло до сознания Павла, что он присутствовал при смерти человека.

Вернулся Митрич, присеменил совсем близко к Павлу, зорко заглянул в глаза. Оказывается, мог он вот так устойчиво глядеть, не блуждая взором.

- Ты прощался с ним? Он что-нибудь тебе сказал?

- "Сына жаль... Жену..."

- И все?

- Мало этого?

- И все?

- Все. - Павел чувствовал: отведи он глаза, и Митрич ему не поверит, но смотреть вот так, глаза в глаза, оказалось трудным делом.

- Эх, опоздал я! - посетовал Митрич.

- Дела у тебя с ним были? - спросил Павел. - Вы вроде разными дорожками бегали.

- Какие дела?! - Наконец-то сдвинулись, заблуждали по комнате глазки Митрича, затуманились, стерлись, а ведь только что буравили. - Какие еще дела?! Добрый товарищ умер! Ценный, ценнейший человек! С кем теперь посоветуешься? С тобой? Как там, сладилось у вас? - Митрич хмыкнул. - До вечера ждал, что позвонишь. Недосуг было? Сладкая женщина. От сердца оторвал. Ну, ну, работайте. Заявление подбрось. - Беспокойство не покидало Митрича, глазки его и раз и другой обшарили стены кухни, будто выспрашивали и стены. - Кто ему глаза закрыл?

- Тамара... Лена... Доктор этот... Меня там уже не было. Митрич, надо бы его сына вызвать из армии.

- Сделаем, сделаем. Ты побудь тут, чаек поставь, а я к вдове. - И убежал, укатился, заранее пригорюнив лицо.

Павел взялся было за бутылку, но она оказалась пустой. Он подошел к окну, закурил. За окном занимался жаркий, погожий день. Солнце двигалось за грядой домов, его не было видно за стенами, только вспыхивали стекла. Казалось, пожар перебрасывается от дома к дому, от длинных этих, протяжных зданий с бесконечным множеством окон. За каждым - жизнь. А вот за окном Петра Григорьевича - смерть. Нет человека, сгинул человек. Очень одинокий это был человек, если последнюю свою волю он доверил даже не жене и даже не сыну, а ему, Павлу Шорохову, с которым не виделся целых пять лет, который мог ведь и опоздать дня на два, на три с возвращением. Они и друзьями-то не были. Их связывала своего рода приязнь, какие-то общие дела, ну, доверие. Приязнь? Что это такое? Общие дела? Позади дела. Доверие? А это с чем едят? Все было зыбким в их отношениях, зависело от случая, от того, как на что поглядеть. На суде Павел не назвал Петра Григорьевича - это что, залог доверия? Когда сидел, Петр Григорьевич помогал его сыну, через сестру и ему помогал - а это что, плата за молчание или участие, доказательство дружбы? В зыбком мире они жили, в странном каком-то, к которому часто не подходили и обычные слова, а особенно такие высокие, как - доверие, дружба, приязнь. Вот, оказывается, Митрич, Колобок этот, был другом Петру Григорьевичу. Не похож Колобок на друга, рыбки ему друзья. И дел раньше у них общих не было. Но ведь прошло пять лет.

- Павел, вы меня не проводите? - В дверях стояла Лена, уже в плаще, в косынке, озябшая какая-то. - Меня качает, - призналась она. - Мне бы хоть часа три поспать.

- Провожу. - Павел пошел от окна к Лене, а когда поравнялся с ней, она шепнула:

- Прихватите тетрадь. Круглый все допытывается у Тамары, что Петр Григорьевич сказал да нет ли каких записей.

- А я поеду посплю к своему приятелю, к Костику, - громко сказал Лене Павел, потому что в коридор из комнаты Петра Григорьевича выкатился Митрич. - Митрич, ты здесь остаешься?

- Обязан. Должен. Тамара просила. Сейчас понаедут, набегут плакальщики, а кому-то ведь надо печальными хлопотами заняться. Правильно, езжай, отсыпайся. Зачем к Костику? Или у тебя рядом с работой квартиры нет? Митрич хмыкнул. - Ужель не пустит компаньона? Кланяйся Веруше, поздравь...

- Нет, я к Костику! - Павел заскочил в комнату, выхватил из-под койки чемоданчик, прощаясь, провел рукой по спине бензинового тигра, сказал ему: Поверь, откупил бы я тебя, мил ты мне, да самому некуда голову приклонить.

Через открытую дверь Лена смотрела на него, слышала его слова.

- Вы сейчас, как актер, - сказала она. - Перед кем вы актерствуете? Подменный вы какой-то. Ну, пошли, выведу вас отсюда.

Павел не решился заглянуть к Тамаре.

- Митрич, передай, я сегодня же заеду. Посплю совсем немного и вернусь.

- Управимся без тебя. К работе подключайся. На похороны позовем. Бегали, сновали глазки Митрича, выискивали что-то. Они и на чемоданчике было задержались, но соскользнули.

Следом за Леной, придержав для нее дверь, Павел вышел из квартиры Петра Григорьевича. Показалось, что вырвался на свободу.

10

Их встретило солнце, тоже вырвавшееся наконец из-за домов.

Павел ослеп, обрадовался этому ударившему по глазам жару, цветные круги заходили в глазах. Так бывало и там, в предгорьях, в песках. А он мог бы и сейчас там бродить в кирзовых сапогах, которые не прокусишь, с палочкой-уловкой в руке, - простое дело, ясное дело. Вот она - змея, вот он - змеелов. Изловчись, прижми ее к земле, ухвати потом пальцами у головы, вскинь всю ее победно - и в мешок. За кобру - тридцатка, за гюрзу двадцать. И дальше в путь. Один. Зной неистовый. Крутятся вдали барханные смерчи. Воды с собой много не унесешь, а достать ее тут негде. Змеи не глупы, они и сами могут изловчиться. Трудное дело, опасное. И все же это было простое дело, ясное, честное.

- Нет, меня провожать не нужно, - сказала Лена, останавливаясь. - Вам куда-то туда, а мне совсем в другую сторону. Я было подумала, может, вы теперь по-другому захотите жить, а вы не захотели. Что за работа? Не рассказывайте, мне неинтересно. Прощайте, Павел. Про тетрадь, как он велел, я буду молчать. Прощайте.

- Так ведь встретимся на похоронах. Вы придете?

- Все равно прощайте. Приду, конечно.

- Давайте я вас подвезу. Сейчас поймаю такси.

- Я не люблю такси. Меня и метро домчит. Спать, спать, спать.

Она пошла от него, кутаясь в плащ, все еще не согрелась, хотя стало жарко.



Подождав немного, Павел тоже пошел к станции метро. Вот он и снова шел по Москве со своим чемоданчиком в руке, не зная, куда ему идти. Про Костика он просто так сказал, Костика дома не было, он проводил свой отпуск на даче, а где его дача, этого Павел не знал. Да если бы и знал, не поехал бы. И к Вере он не поедет. Потому как раз, что так посоветовал ему поступить Митрич. Больно вы быстрые! Конечно, он дал себя заманить, но больно вы быстрые, он еще не на крючке. О Вере вспомнилось недобро. Все лгало в этой женщине, даже когда она целовала его. Такие, как она, умеют лгать самозабвенно. Он вообще не доверял женщинам. С одной, с еще одной лгуньей, с бывшей женой, ему предстояла скорая встреча. Страшно хотелось спать. Измучился, смешалось все перед глазами, и его тоже познабливало, хотя он понимал, что настала утренняя жара. Он присел на скамью у входа в метро, сосредоточился. Сперва надо было припрятать тетрадь. Что за тетрадь? Что в ней? Когда прятал в чемодан, не решился заглянуть, полистать, да сразу бы и не понял ничего, если там что-то надо расшифровывать. Так, сначала спрятать тетрадь. Павел поднялся, пришло решение: он отвезет чемодан на вокзал - ближайший был Рижский, - поставит его в запирающуюся личным кодом ячейку камеры хранения. Так поступают всегда. Всегда? Где? В детективных фильмах? Нет, и в жизни тоже. В той жизни хотя бы, которую он вел до суда. А чем то была не детективная жизнь? Ему казалось, что жил обыкновенно, ну бойко, ну дерзковато, а допрашивали его на следствии, как в этих фильмах прибалтийских про "Знатоков". И сейчас он, с тетрадью этой, во что влезает? Не в детектив ли? А с этим павильоном фруктовым и с этой Верой, которой нет никакой веры? Чистейший детектив начинался в его жизни. Со змеями было проще, яснее.

До Рижского добрался быстро. В камере хранения, следуя законам детективных фильмов, огляделся, не следят ли за ним, смешно стало, когда оглядывался, хоть было не до смеха, просто голова кружилась от усталости. Отопнул дверцу, опустив монету, сунул в узкое пространство чемоданчик, набрал на барабане четыре цифры, вспомнив, что собственный год рождения набирать не рекомендуется, набрал год рождения сестры, она была на семь лет его старше, вспомнил сестру, поняв мгновенно, что вот ему к кому надо, вот кто его примет, захлопнул дверцу, запомнил ее, черкнув в своей пухлой записной книжке номер ячейки, и просто кинулся назад в метро, чтобы перебраться с вокзала на вокзал - с Рижского на Савеловский.

Все позади, он в вагоне, электричка тронулась, путь впереди почти два часа, и до конечной остановки. Он откинулся на спинку и мгновенно заснул. Два бывалых парня, сидевшие напротив, уважительно переглянулись, сойдясь взглядами на сильных, порубленных шрамами руках этого загорелого в черноту пижона. Нет, это был не пижон, так пижоны не умеют спать, намертво, но с чутко вздрагивающими веками.

- Из своих, - сказал один парень и посмотрел на свои руки, в синем крапе, но, жаль, без шрамов и белесые.

- Из наших, - сказал другой парень, тоже поглядев на свои руки, тоже помеченные, но слабоватые и белесые.

- Отсядем?

- Отсядем.

И они оставили "своего" и "нашего" спать в одиночестве - так "паханов" не тревожат даже и близким соседством, когда они спят.

Павлу снились сны. Потом, когда он проснется от одного из них, когда попытается вспомнить, то сразу же откажется вспоминать. Это были сны из сегодня. Продолжалась, возвращалась явь. Снова помирал, невнятно досказывая последние слова, Петр Григорьевич, снова выходила из ванной в коротком халате женщина, снова мальчик учил собаку приносить палку.

То были тягостные сны, пугавшие Павла, метались под веками глаза. А когда сын узнал его, когда спросил: "Вы мой папа?" - Павел вскинулся и проснулся.

Никто, пока спал, не подсел к Павлу, никто не сел и перед ним, хотя в вагоне было достаточно народу. Отчего так? Был не таким, как все? Это ранний поезд, он вез москвичей на работу не к Москве, а от Москвы, он вез на работу, к делу, а Павел в своем финском костюме, в мятой, но жениховской рубашке, небритый, сразу тяжело заснувший, он ехал либо с гулянки, за что заслуживал осуждение, либо в какой-то беде оказался человек, а тогда ему полагался покой. Ехавшие в вагоне люди были чуткими людьми, умевшими каждый на свой лад понять многое о другом, лишь глянув только. Глянув вокруг, а синева в его глазах проснулась, Павел понял, что в вагоне его не осуждают, что ему сочувствуют, придя к общему выводу, что он не с пьяной гулянки возвращается, а что худо ему. Он обрадовался этому сочувствию чужих людей. Они не чужими были, нет, не чужими. Если бы возможно было, если бы между незнакомыми людьми были протянуты тоненькие провода, по которым можно было переговариваться, он бы всем им сейчас рассказал о себе, все выложил, хотя и сам толком не знал, про что ему говорить. Вот он едет не к чужому человеку, к родной сестре, но что он скажет ей? В своих письмах к нему она так надеялась на его возвращение, так ждала. У нее на руках была дочь на выданье, в самой той поре, когда девочке нужна отцовская защита, нужна и материальная помощь. Отца не было, он давно умер, Нина поднимала дочь одна. Участковый врач, она легко согласилась уехать из Москвы, когда ей предложили в Дмитрове место главного врача в заводском профилактории. Побольше была зарплата, решалась проблема питания, давали отдельную квартиру. Влекло Нину, что девочка будет расти поблизости от матери, в тихом городке, на чистом воздухе. Решалась и проблема с московской квартирой, оставшейся им после родителей, куда привел Павел свою молодую, статную жену, с которой почему-то не удавалось Нине ужиться, хотя была Нина покладистым, спокойным человеком. Павел вдруг понял, вот сейчас, на этой скамье в поезде, что вариант с Дмитровой был еще и жертвой сестры, во имя него, брата, жертвой. А вся ее жизнь, то, что не вышла больше замуж, объявив, что уже стара, хотя была молода, хотя по нынешним временам и старые-то бабы никак не уймутся, меняя мужей и любовников, а вся ее жизнь разве не была жертвой? Брат и сестра, даже родственно похожие, они оказались совсем разными, противоположными. Он жил для себя, всегда для себя, чего уж тут толковать, а она для других - для матери, когда жива была мать, для мужа, для дочери, для него, для сына его, наконец, для них обоих эти пять лет, одному посылая посылки, другого навещая, помогая ему. Наверное, эти деньги, которые она брала у Петра Григорьевича, были ей неприятны. Нина была гордым человеком, но она брала их, не для себя брала. Наверное, ей тяжело было бывать в доме у Зинаиды, у женщины, которая предала ее брата, в доме, где родилась и который был теперь ей чужим, но она ходила в этот дом ради мальчика, ради племянника, понимая, что она нужна ему. Ей бы теперь помочь, пора бы ей помочь, а он катит к ней опять за помощью, чтобы просто выспаться, чтобы поскулить у сестрина плеча. Как в оборвавшемся сне, в этой прикошмарившейся яви, Павел вскинулся, обрывая эту явь, нестерпимые эти мысли. Он поглядел за окно, поезд подъезжал к Дмитрову, в окно медленно, на широком полукруге, врывал, весь в солнце, собор, стоявший в городе на высоком холме, утверждая древний зачин ныне небольшого города. А все же жила история и в этих одноэтажных, прихмуренных старостью домах. Жила история и в поределых могучих деревьях главной улицы. Жила история и в том, как сходились улочки к крепостным стенам, к тому центру городской обороны, который, как ни меняй его лик, хранил крепостную задачу, ибо город Дмитров стоял заслоном от врагов для самой Москвы еще в давние времена, заслонил он столицу и в недавние.

Недалеко от станции был рынок, и Павел свернул к нему, чтобы не с голыми руками явиться к сестре. Небритый, с заспанным лицом, без хоть какого-нибудь подарочка - вот так братец явился долгожданный. Деньги с собой были, рублей семьсот оставалось в пачке десятков, которую вчера сунул в карман, но промтоварные магазины еще не открылись. Мог выручить только рынок. И надо было в какой-нибудь палатке электрическую бритву купить, он забыл

свою бритву в чемодане, лежит сейчас там рядом с загадочной тетрадь. Все не так сделал, надо было сюда прихватить тетрадь, здесь бы и полистать ее в тишине.

Рынок уже жил, наполнился людьми. Бедноватый это был рынок после кара-калинского, где высились груды пунцовых помидоров, где благоухали горы молодого лука, рдела редиска, и уже появился молодой розоватый виноград, появились дыни, арбузы, целый ряд там был отведен продавцам мацони, продавцам верблюжьего чала - попить бы его сейчас, промыть душу! - целый ряд торговал медом, каких только он не бывает цветов - от белого до почти красного. И еще тот рынок торговал, причем задаром, таким божественным нектаром из запахов, что пьяный трезвел, а трезвый становился пьяным. Нет, дмитровский рынок уступал кара-калинскому, ну что ж, не та земля, трудней дарит, не то солнце, сегодня оно печет, а завтра нет его. Но все же и здесь рдела редиска, зеленел лук, терпко, сладко пахла совсем молоденькая, с орешек, картошка. И нате вам, какой-то замечательно предприимчивый узбек, мало что сперва до Москвы добрался, он потом и до Дмитрова добрался, и нате вам, привез сюда настоящую большущую узбекскую дыню.

- Сколько? - торопливо спросил Павел, страшась, что кто-либо перехватит у него эту дыню, наперед зная, что заплатит за нее, сколько бы ни спросил узбек, седобородый, лукавый старик.

- Всего тридцать, - прищурился узбек, разглядывая не совсем обычного для Дмитрова покупателя. - Никак не могу уступить. Откуда здесь, товарищ?

- Прямо из Туркмении.

- Сосед. Вижу, что наш человек - солнце наше на лице. Прости, ну никак не могу уступить. Сам знаешь, какая дорога.

- Беру, - сказал Павел. - Целая кобра. Ничего, беру.

- Почему кобра? Какая кобра? Мед! Нектар!

- Столько стоит одна отловленная кобра, - пояснил Павел, выкладывая деньги и принимая на руки, как ребенка, дыню, испещренную загадочным сетчатым рисунком, как поливное хлопковое поле, если смотреть на него с вертолета, поднявшегося высоко.

- Ты змеелов? - уважительно спросил узбек. - Бери назад пятерку. Черт с тобой.

- Не нужно, оставь себе. За смелость, что до Дмитрова дошел.

- Бери, говорю, я не бедней тебя!

- Оставь, говорю! Да и бывший я змеелов. Скоро сам стану дынями торговать, конкурентом твоим стану.

Все так же неся дыню, как ребенка, Павел отошел от недоумевающего узбека, довольный этим разговором, приободрил его этот разговор, будто он на базаре в Кара-Кале очутился, а там его узнавали, уважительно относясь к его работе, там-то знали, что это за работа, каков ее риск.

- Почему - бывший? - сам себя вслух спросил Павел. - Еще неделю назад по серпентарию ходил, еще ноги от кирзовых сапог не отвыкли. - Он оглянулся на узбека, подмигнул старику, и тот заулыбался в ответ, щербатый, лукавый, понимающий, очень довольный, что встретил здесь, в Дмитрове, своего человека, щедрого человека, избавившего его от товара, который тут никак не шел за такую непомерную цену.

Довольно долго надо было идти до дома, где жила Нина, где жила Оля, девочка, ставшая

девушкой. И хорошо, что долго, хоть как-то мысли успеешь в порядок привести. Надо было с какими-то словами явиться к сестре и племяннице, не с жалобой, а с ободрением, не за помощью, а с помощью. Заждались, строили наверняка планы. Ну, выхватила его жизнь из их жизни, но теперь-то он вернулся. Не спать, не жаловаться, не паниковать, нет, он приехал с дыней, веселый, уверенный в себе, с деньгами. Откроются магазины, и он пойдет с Олей, купит ей что-нибудь подороже. Пусть радуется. Он ни слова не скажет, чтобы омрачить им радость. Все хорошо, все отлично. Да, а как же весть эта о смерти Петра Григорьевича? Что ж, Нина знала, что Котов тяжело болен. Жил человек, умер человек - что тут можно сказать? О новой своей работе пока ни слова. Ну, согласился, ну, дал затянуть, но еще не решено, окончательно ничего еще не решено, даже заявления он не написал. Поглядим, поглядим, спешить особо некуда, пока пусть змейки покормят, разжился ведь на змейках, набил карманы платой за риск. Тот риск с нынешним не сравнить, этот, пополам с Верой, пострашнее будет. Но почему так подталкивает его Митрич? Почему так заторопилась женщина? Надо разобраться. Впрочем, у каждого свой резон. Надо разобраться, надо оглядеться. Это было главным в науке Владимира Бабаша: "Оглянись сперва. Не та змея опасна, которая перед тобой, а та, что за спиной". Его брат не оглянулся или не зорко оглянулся - и погиб.

Вот и дом Нины и Оли. Пятиэтажка пятидесятих годов, но не панельный дом, из кирпича, еще постоит. Осел будто, явно обветшал, но стоять ему годы, еще будут в нем рождаться люди, играть свадьбы, может, и Олина свадьба.

И сестра и племянница были дома. Еще только встали, в одинаковых были халатах, еще не причесались как следует. Повисли на нем, родные, пахнущие родным, до слез, до слез родные. Он стоял, страхась уронить дыню и страхась заплакать.

Оля, тоненькая, стройная и незнакомая красавица, загадочная какая-то, узнанная и неузнанная, взяла у него дыню, сказала:

- Мама, а это та самая, что мы вчера на рынке обнюхивали. Дядя, только не ври, пожалуйста, что ты ее привез из Туркмении. Та самая, та самая, признайся!

- Та самая, признаюсь.

- А ты ничего у меня, - сказала Оля, отходя и разглядывая своего дядю, они все еще стояли в узком коридоре. - Можно показывать.

- Кому?

- Ну, подружкам. Вот, мол, у меня какой объявился родной дядя. Еще выдам за тебя какую-нибудь. Теперь мода на стариков.

- Да разве он старик?! - всерьез обиделась за брата Нина. - Все у тебя старики да старухи!

- Только не ты, мамочка, только не ты! Смотри, дядя, какая она у нас! Верно, я правду говорю, что красавица?!

Но Нина была не красавицей, увяло ее лицо. Она и смолodu не была красавицей, но молодость долго держалась в ней, готовность эта, улыбка эта, откликающаяся каждому, а теперь все поблекло, все притихло в ней, притихшим стало лицо.

- Правду, правду, - сказал Павел. - Но только не рядом с тобой. Рядом с тобой нам действительно стоять невыгодно. Здравствуй, Нина. Спасибо за все. - Они обнялись, надолго. Не целовались, просто стояли так, обнявшись.

- Почему не побрился? - шепотом спросила Нина. - Неприятности?

Он отрицательно качнул головой.

- Потом расскажешь... А теперь к столу. Мы ведь ждали тебя, Паша. Каждый день, каждый час. Как написал, что скоро будешь, так и стали ждать. Счастье какое, у меня как раз сегодня выходной! Добрая примета. И то, что ты эту дыню притащил, на которую мы вчера облизывались, это так хорошо, так удачно. К счастью это, Паша. Я стала верить в приметы. А ты? Какой ты? Каким стал?

- Тоже стал верить в приметы, - рассмеялся Павел.

Нина отстранилась от него, вгляделась.

- Не пойму, не пойму... Тебе и сейчас трудно... Ладно, потом о трудном, а сейчас к столу! Мы и водочки к твоему приезду запасли. Шампанское у нас с дочкой есть. Вот так-то вот! Ты не побреешься сперва? У меня есть бритва, безопаска. Побрейся, Паша.

- И побреюсь, и душ приму. Чудак я, оставил вещи на вокзале. Мне ведь сегодня назад, вот и оставил. А про бритву забыл, про чистую сорочку забыл. Одичал я все-таки.

- Костюм преотличнейший, - сказала Оля. - И загар, штучный загар. Ох, девочки, ох, подруженьки!..

- Негодница, как ты разглядываешь своего родного дядю?!

- Нельзя уж и погордиться? Если уж повезло на дядю, так и нечего скрывать.

Родные, родные голоса, родные лица, не сыскать ничего дороже. Сейчас бы сюда еще сына - и вот оно, счастье, вот оно, хоть в руках его поддержи. Жаль, нельзя мужикам плакать, стыдно мужикам плакать. А Нина плакала, смеялась и плакала.

11

Дыню нарезают так: ставят дыню на попа, срезают одним круговым движением верхушку, нож должен быть острый, широкий, надежный, и потом, сверху вниз, сверху вниз, ударами, а главное, смело, не вымеряя, доверяя глазу и руке, раскроить всю дыню на ломти, придерживая ладонью, чтобы до срока не распалась. И вдруг отвести руку, и дыня начнет медленно разводить свои ломтики-лепестки, на глазах превращаясь в гигантский тюльпан, на глазах распутившийся. Вот так нарезают дыню. Да, а потом надо замереть всем, кто за столом, вдыхая нахлынувший аромат. Божественный аромат.

- Ну что?! - торжествуя, спросил Павел. - Недаром старики-туркмены в этот миг поминают имя аллаха! С чем сравнить это чудо? - Павел глядел на своих женщин, в их зачарованные лица. Он был счастлив. Ему было хорошо сейчас, отошел душой. Он смыл усталость под душем, потом побрился, облачившись в пижаму, оставшуюся от мужа Нины, и теперь вот, с засученными рукавами, с открытой грудью, с этим кухонным мечом в руке, стоял во главе стола, явив женщинам чудо.

Потом они ели дыню, повезло, дыня оказалась удачной. Спасибо, седебородый старик, спасибо тебе, что довез, дотащил ее аж до Дмитрова! Оля так ела, что даже уши у нее отведали дыни. Смотреть на Олю было тоже счастьем. Нина помолодела, пояснила, смотреть на нее было тоже счастьем.

- Живут же люди! - вздохнула Оля, решая, есть дальше или передохнуть. Каждый день могут

с дыни начинать!

- И еще горячий, только испеченный чурек. И чай из пиалы.

- Змейки на ветках поют! - подхватила Оля. - Кстати, а змеи не поют?

- Шипят. Но очень по-разному.

- Шипеть и мы умеем и тоже по-разному. У нас математичка только так нас к тишине и призывала: "Молодые люди, перестаньте шипеть!"

- Вот кончила школу, зубрит вот целыми днями, - сказала Нина. - Решили мы во второй медицинский сдать документы. Поступит ли? Там ужасающий конкурс. Десять абитуриентов на место.

Счастливая минута прошла. Озаботилось лицо матери, поскучнело лицо абитуриентки, вымазанное до ушей дынным соком.

- Но ты же поступила, туда же, во второй, - сказал Павел.

- Сравнил меня и ее. Мне ставили пятерки за положительную внешность, а это же кинозвезда. Ну какой это участковый врач, чтобы в грязь, в мороз - из дома в дом, день за днем, год за годом?

- Может, сдать тогда документы во ВГИК или там еще куда?

- Мама не понимает! - вскочила Оля, измазанная и прелестная в своем гневе. - Я - врач! Ну, бывают же привлекательные врачи! Что значит по грязи? Не должно быть грязи! А хотя бы и по грязи, ну и что? Разве я у тебя белоножка? А кто тебя лечит, когда у тебя грипп или радикулит? А кто всех мальчишек в доме перебинтовывает? А наследственность? Отец ведь тоже был врачом, даже хирургом был. Не серди меня, а то пойду в хирурги!

- Ой, ну что с ней будешь делать?! - гордясь и тревожась, глядела на дочь Нина. - Уговорила. Тогда зубри, зубри и зубри.

- И плюс обаяние, - сказала Оля, - экзаменаторы тоже люди. В приемной комиссии, когда я вхожу, все умолкают.

- Там - студенты.

- Студенты, но старших курсов. Это очень влиятельный народ. Поверь!

- Верю, верю.

- И потом, мой дядя вернулся. Если что, он пойдет к ректору. Сильный, смелый, вот такой, как сейчас.

- В пижаме этой, - подхватил Павел.

- Ты найдешь в чем пойти и что сказать, я в тебя верю. И ректор тебе поверит. Ты внушаешь доверие, Павел Сергеевич. Поверь.

- Как у тебя с работой? - спросила Нина. - Что тебя так взбудоражило в Москве? Сына повидал? Я предупредила Зинаиду, что ты возвращаешься.

- Я побежала! - вскочила Оля. - Этот разговор не вписывается в программу моей зубрежки. - И умчалась.

И погас праздник, будто кто-то выключил невидимые, но яркие светильники, по-будничному серыми стали стены.

- Сегодня на рассвете умер Петр Григорьевич, - сказал Павел. - Да, с сыном повидался. Он вырос. Не я его узнал, он меня. Разговора настоящего не вышло, я был не готов к этому разговору. Сам не знаю, как забрел во двор. Что с работой? Предлагают, даже почти согласился, можно сказать, согласился. Знаешь, что за работа?

- Ну?

- А вот дынями торговать. Такими или похуже. Арбузами, фруктами словом, сезонным товаром.

- Работа только на сезон?

- Да. Но такой сезон может год прокормить.

- Если красть, Павел?

- Ничего другого не предлагают. Ты учти, я с судимостью, на старое место мне нельзя, я не из длительной зарубежной командировки вернулся. Хорошо, если меня вообще пропишут в Москве.

- Я советовалась с юристом. Пропишут. Ты даже имеешь право на размен квартиры. Знаю, ты на это не пойдешь, из-за сына не пойдешь, знаю. Ну, снимешь комнату, придумашь что-нибудь. А работа, нет, Павел, сезонный этот товар не для тебя. Иначе ты должен начинать, иначе.

- Костик тоже советует, чтобы иначе. А как? Где? Человек идет туда, где его знают.

- Иди в бухгалтерию, в экономисты. Даже у нас на заводе все время требуются люди с такими профессиями.

- Сам я не устроюсь, просто так, с улицы, меня не допустят к работе с финансовой ответственностью. Года два-три еще не будут допускать.

- Тогда поработай эти два-три года в таком месте, где ничего не прилипает к рукам.

- Может быть, грузчиком?

- Может быть, грузчиком.

- И у грузчиков прилипает. Но дело не в этом. Вне своей среды я никому не нужен, а в сорок лет начинать с нуля... Отобьюсь от своих, не прибьюсь к чужим.

- Но что же делать, если так все получилось? Какие там свои, они усадили тебя на скамью подсудимых. Ты благородничал на суде, а они попрятались. Потом откупались подачками. Петра Григорьевича твоего мне только потому жаль, что чувствовалось: совесть его гложет. Что у него было?

- Саркома.

- Вот! Еще не доказано, но убеждена, как медик убеждена, что рак, саркома, особенно саркома - это болезни совести.

- Умирая, он сказал мне: "Сына жаль... Жену... Деньги ничего не решают... Обман..."

- Вот! Ты запомни эти слова, Паша, запомни!

- Слова остаются словами. А как жить? Вот у Костика и мать и жена вяжут. И мне, что ли, жениться на вязальщице? Но за меня порядочная сейчас не пойдет, Нина. Проем змеиные деньги, и кто я?

- Ты со мной, Павел, споришь или с собой? Если у тебя все наперед решено, так о чем разговаривать. Иди, работай, куда зовут. Ты им честный там не нужен, верно ведь? Иди, заколачивай большие свои деньги, пока не попадешь. А там опять суд. Только не забудь: у тебя сын, и ему плохо, Павел. Он был крохой, когда ты ушел, ему достаточно было матери. Теперь ему отец нужен.

- Но разводятся же люди, разводятся же люди!

- Не кричи. Ни меня, ни себя ты криком не убедишь. Да, разводятся. Или вот, как у меня, когда умер муж. Но тогда мать должна тянуть, должна быть за двоих. А твоя Зинаида выскочила замуж. Но и это еще не беда. Она плохой матерью оказалась - вот это уже беда.

- Почему плохой?

- А вот та же среда, все та же среда. Муженек попивает, сама попивает. Легкие деньги. И, учти, жадной стала. Знать, нелегкие это деньги. Злой стала. Доброй смолоду не была, а теперь злой стала. Дом забит барахлом. Хмуро они живут, Паша. Я не завидую их барахлу, поверь. Конечно, хотелось бы одеть Олю получше, все так, но не любой ценой. Она у меня смешливая, веселая, уверенная. Заметил? Нет ничего дороже. А Сережка замкнулся в себя, от него улыбки не допросишься.

- Заметил.

- Что же делать будем, брат?

- Не знаю. Ей-богу, не знаю.

- Ты поживи у меня, отдохни.

- Мне к вечеру в Москве надо быть, у Петра Григорьевича.

- Так ведь похороны не сегодня же. Передохни, проспи хоть ночь у родной сестры. Ты когда вошел, я испугалась за тебя. Черное было лицо. Не в загаре дело, а в той проступи на лице, которая говорит, что человеку худо. Слава богу, отошел. Знаешь, я залюбовалась тобой, когда ты эту дыню рубил. И Ольга опять вытарашилась. Произвел ты на девочку впечатление. Ты еще у нас молодой, Паша, ты еще у нас всего достигнешь!..

- Ну, не нужно, слезы-то зачем? - Павел наклонился к сестре, они опять обнялись. - И достигну, и достигну, вот увидишь...

Павел не уехал, остался на ночь. Давно он так не спал, так спокойно, без этих снов проклятых, которые длили, вторили явь, выбирая из прожитого что похуже, такое, чтобы в самое сердце укололо. Давно не сторожил он сам себя во сне, как выучился сторожить в заключении, когда сам спишь и сам же себя стережешь. Даже когда один спал - а в последние месяцы перед выходом на волю он уже и жил повольнее, его освободили от общих работ, он помогал вольнонаемному бухгалтеру составлять отчет, - даже и совсем один в комнатенке, которую ему отвели, он все же спал, сам себя карауля. А в Кара-Кале - опять такой же сон, сторожный, вполглаза. Пойми-ка, кто опаснее, порченный человек на койке рядом или же скорпион, забравшийся к тебе под одеяло. Но еще опаснее, всего опаснее были собственные мысли. Он сторожил себя, свой сон, от своих мыслей. Только вцепятся, как он будил себя. Спать бывало страшнее, чем не спать. Когда кошмарило, когда весь этот бред наваливался с погонями, с ножами и выстрелами, ну, как в кино, он спал спокойно, отдыхал.



Весь вчерашний день был счастливым, самым счастливым за все эти годы, а отсчет он вел от той минуты, когда захлопнулась за ним зарешеченная дверь машины, похожей на небольшой фруктовый фургон.

Весь день вчера он сперва бродил с Олей по Дмитрову, они заходили в магазины, что-то он там покупал для нее, хотя она отказывалась, потом сидели в кафе, собор вокруг обошли. На улицах на них оглядывались, узнавая в Ольге родственное сходство с этим вычерненным солнцем человеком, здороваясь и с Ольгой, которую многие знали, и с ним заодно как с ее родственником, но и отдельно с ним - он вызывал интерес, уважение. Он чувствовал, что на него смотрят с интересом, Ольга говорила ему об этом, она гордилась им. А он ею, и он говорил ей об этом, что на нее засматриваются, что с ней здороваются уважительно, добро. В этой приязни, в этом родстве, в тишине этой он и прожил вчера весь день. Незнакомое чувство сейчас жило в нем, щекочущее какое-то, как щекочет радость, будто внутри него что-то оттаивало, оттаивало.

Ну, а ехал он на мороз, опять на мороз.

12

Его тянул этот проклятый, пропахший сладкой химией павильон, и эта женщина, что говорить, подманивала. Как ты ни настораживайся, ни упирайся, а женщина, с которой ты был близок, уже зажила в тебе, уже начинает подзывать твои мысли. От Курского вокзала было недалеко до той тихой тополиной улицы, всего четыре остановки на троллейбусе и совсем недолгий путь кривенькими переулками, которые были милы Павлу не парадной стариной, этими купеческими домиками, уцелевшими здесь под вековыми деревьями. Бывало, даже когда он на своей машине в те места приезжал, он парковал машину задолго до кирпичного дома, шел к нему пешком, этими вот переулочками, уездной этой Россией. Уцелели еще в Москве переулочки, которые как бы от имени всей России с тобой разговаривают, от бывшего дара твоей душе покой. Надо же было, чтобы эту сомнительную да и оскорбительную для него работу ему подобрали в таком заманчивом месте, в памятном добро месте.

Когда ехал к Митричу, не обратил внимания, проскочила машина, а оказывается, переулочки похорошели с той поры, когда он бывал здесь, домики в два этажа, где в первом была непременно лавка, подремонтировали, вернули им былой цвет - это, должно быть, к Олимпиаде все было сделано, чтобы заморские туристы, очутившись тут ненароком - а что им тут делать? - могли бы умилиться. А вот теперь он умилялся, не заморский человек, здешний, тутошний, хотя и бездомный. А что, а не плюнуть ли на все, не окоротить ли себя, напор этот в себе, мечты свои, да и остаться тут жить? Да, да, продавцом в фруктовом павильоне, да, да, сожителем бывалой, погулявшей всласть женщины. Комбинировать, но без особой жадности, чтобы не загребли, попить, погуливать, а надо, так и морду набить своей бабенке, если что, а? Дружки тут заведутся, компания. Месяцами с этих улочек в Москву не понадобится путешествовать. И в Москве ты, и в тишине. Сын?! Да, сына жалко... А себя? В сорок лет сдаваться надумал?

Куда было сперва идти - к павильону или к Вере, к которой рискованно все ж врываться, не позвонив заранее, а телефон ее он записать не догадался. Павел решил пойти к павильону, побыть возле него, приглядеться, что там вокруг за жизнь, какие там люди ходят. Если здесь он начнет работать, всякая малость для него здесь будет немаловажной. Так начнет он тут или откажется? Может быть, уже начал? Он миновал красный дом, уже угретый солнцем, горячим дохнуло от кирпичной стены, метнулось, ворохнулось что-то в глазах, горячо стало глазам.

А вот и павильон. Гляди-ка, открыт! Раздернуты ширмы ставень, легенькие занавесочки праздничными флажками полощутся на ветру, только что отъехала машина, сгрузившая плоские ящики, и суетятся у этих ящиков трое мужичков, это неизбежное всегда трио, где только ни начинается у магазинов разгрузка. А вот и Вера, нарядная, яркая, как флаг латиноамериканской державы, даже издали видны взлески от ее золота. Она заметила его, побежала к нему, так женственно-замысловато перебирая полными ногами в джинсах, что жар тот, коснувшийся его у красного дома, теперь просто ожег Павла. Рада ему! Бежит, протянув навстречу руки, чужая и уже не чужая. "Трио" прекратило свою работу, заинтересованно наблюдая, как эти двое сближаются.

- Явился все-таки! - задыхнувшись, чуть не добежав до Павла, остановилась Вера. - Где ночь провел и весь вчерашний день? - Она явно ревновала: - Кто это тебе рубашку простирнул и выгладил? Ну, ты даешь! От бабы к бабе! - И вдруг помягчала, наперед покоряясь своей участи: - А разве так хорошо, Паша? У нас ведь все заладилось... - Обернулась к "трио", объявила звонко, победно: - А вот и он! Его не облапошите!

Павел подошел к груде ящиков, за деревянными планочками виднелись сливы, крупные черные сливы. И высилась еще груда коробок с фруктовыми консервами - их этикетки были на коробках.

- Абрикосов Митрич пока не прислал, - сказала Вера. - До выяснения, сказал. Да мне одной бы и не управиться. Я ведь без опыта, Паша.

- Но прижима, прижима она у вас, - подошел один из "трио", протягивая руку для знакомства. - Андрей.

Павел пожал руку Андрея, большую, потную, дряблую. Рослый это был мужик, этот Андрей, лет к пятидесяти, сильный, плечистый, грудастый, дрябловатый. Умно, смешливо поглядывали его голубенькие в желтизну глазки с нависшими веками. Облысел этот человек до срока, обвисли у него щеки до срока. Алкарь. А уже другой, и тоже алкарь, тянул для знакомства руку. Это был старый человек или казался старым, седые космы он унимал пятерней, но они не унимались, лицо подергивалось, плечи подергивались, губы, подергиваясь, саркастически улыбались. Он представился, церемонно поклонившись:

- Семен. Вы угадали, знавал лучшие времена.

Представился и третий, молодой верзила, большегубый увалень, еще не решивший, куда качнуться в жизни, и вот качнувшийся пока - пока? - в этот ансамбль "на троих".

- Стасик, - пробасил он и выпрямился, бахвалясь силой.

Все так, все те же персонажи, которые толклись у складских люков его гастронома, только их там побольше было, целыми оркестрами работали, и только уж никто из них там к нему с рукопожатием не лез. Они были тогда по разные стороны стены. Он был на той стороне, где удача, они являли собой неудачу. Вот и перетянули его через стеночку. Сам виноват! Вот теперь и здоровайся с ними, еще и распить бутылку предложат.

- Обмыть бы надо, хозяин, - сказал Андрей.

- Магазин без обмывки - это не магазин, - сказал Семен. - Мы можем сбежать, о чем разговор?

- Чего брать? - уже изготовился к пробежке Стасик.

- Мальчишки, не с того конца начинаете! - звонко, радостно прикрикнула на них Вера. - Сперва - работа, а уж потом - винцо.

- А вы не вмешивайтесь, прошу вас, милая барышня, - сказал Семен, тонкой улыбкой смягчая некую бесцеремонность. - Явился опытный человек, авторитетный товарищ, он знает, с чего начать.

- Этот - знает, - подтвердил Андрей.

Да, Павел знал. Он выхватил из кармана, что выхватилось, а выхватились три десятки, разжал их в пальцах, протянул Стасику:

- Три бутылки и пожевать.

Стасик схватил деньги, побежал, сотрясая землю.

- Для дамы не забудь! - крикнул вдогонку Семен. - Дамы обожают портвейн!

- Меня тошнит от портвейна.

- Так я выпью. Я, между прочим, обожаю портвейн.

- Стало быть, с пьянки начинаем? - посуровела Вера, но сразу же опять смягчилась: - Как знаешь, как знаешь, Пашенька.

- Ящики в павильон, - приказал Павел. - побыстрее, побыстрее. И не кидать-бросать, а аккуратно. - Он сам встал в цепочку. - Вера, ты нам не нужна.

- Испачкаете костюм, - сказал Андрей. - Мы - сами.

- Не знаешь порядка, - сказал Семен. - На открытие даже директор гастронома встает к прилавку.

- Ты все знаешь!

- Да, я знаю. Я, может быть, был им, этим директором.

- Где? В каком году? - сразу поверив, взглядываясь в него, спросил Павел, пугаясь своих мыслей, которые побежали дальше, дальше, которые уже обдумывали его самого, сравнивая с этим обмылком человека.

- Незапамятные времена. А вы мне поверили?

- Да.

- Напрасно. Я очень большой выдумщик. - Семен рукой прихлопнул себе рот, поник встрепанной головой, горестно замерев. Но вот уже и опомнился, оживился, устремив вожделенный взор на дверь углового магазина, из которой вот-вот должен был вывалиться Стасик. - Что он там делает столько времени?

Плоские ящики легко переходили из рук в руки, радостно было ощущать их нетяжелую тяжесть, вдыхать этот тоже, как и у дыни, неземной запах - земной, земной, от земли всё! - радостно было понимать, что ты работаешь, радостно было встречаться глазами с Верой, без притворства счастливой сейчас, радостно было забываться.

Примчался Стасик, бухая ножищами. В молитвенно вскинутых руках он нес три бутылки прозрачной, одну портвейна, в сгибе руки у него повис круг краковской колбасы, в сгибе другой он ужимал белый, широкий батон хлеба.

- Что человеку надо?! - сказал-вздыхнул Андрей.

Так же, теми же словами, подумалось и Павлу.

- Вера, нацарапай объявление, что палатка еще не торгует, - сказал он.

- Павильон, - поправила она.

- А то сейчас набегут, - сказал Семен. - Этот райский запах распространяется со скоростью звука.

Бутылки и еда были занесены в павильон, там нашелся утлый из пластмассы и алюминия столик, такие же нашлись стулья. Алчущие уже сгрудились у столика, но ни до чего не дотрагивались, ждали хозяина. Кашляли, сглатывали, но терпели. Подошел Павел, неся один из ящичков со сливой, ему протянули широкий, короткий нож, которым можно и хлеб нарезать, а можно и человека пришить, но можно вот легко и споро отделить от ящичка две реечки, чтобы слива сама сыпанулась на стол, сладко вычернив, выжелтив его, превращая скудную выпивку в щедрый пир.

Нашлись у Веры и стаканы, она обдуманно начинала свою тут работу. Бутылки будто сами отворились, забулькало в стаканах. Разливал Андрей, выверял, чтобы поровну, Семен, а Стасик только смотрел, учился. Разобрав стаканы - Вера тоже взяла водку, - все поглядели на Павла. Без его первого слова никто бы не посмел сейчас выпить, хотя истомились мужички, губы прикусили.

- Поехали! - сказал Павел. - Пропаду я с вами!

Андрей собрался было снова налить.

- Нет, это все заберете с собой. - Павел был непреклонен. - Обычай соблюли, а теперь работать. Ящички тащите, а за ними коробки.

- Понимает! - одобрил Семен. - Портвейн тоже можно взять?

- Нужен он мне! - сказала Вера. - Но только вы сначала перетаскайте все.

- Хозяйка, обижаешь! - сказал Андрей. - Вперед, братва!

"Трио" кинулось завершать работу. Они спешили, они мелькали, они по ходу дела рационализировали, добиваясь рекорда в скорости, в труде. Причудливо они были одеты. Не трудяги, не работяги, а бедолаги. У каждого в одежде сохранилось что-то от прошлого, от иной судьбы. Семен поверх грязной рубахи имел хорошего кроя жилет, у него были брюки дудочкой, те самые, против которых боролись давным-давно, но впрочем, недавно, как против заморской эпидемии. Андрей был в костюме, изжеванном, как вся его жизнь, но почти модном сегодня, с узкими лацканами. Стасик торчал из отроческой поры тренировочного костюма, обут был в заграничные кеды, выброшенные каким-нибудь маменькиным сынком-акселератом по ветхости.

Работа подошла к концу, еще десятка переключивала из руки Павла в руку Андрея, и так, чтобы всё "трио" видело эту десятку.

- До завтра, - сказала Вера. - В это же время. Абрикосы могут завезти. Еще консервы.

- Будем! - слитно откликнулось "трио" и исчезло.

- Через годик и я с ними побегу, - сказал Павел.

- Не выпущу!

- Разве что не выпустишь.
- А теперь за работу, Паша.
- Покажи накладную.
- Зачем она тебе? По два рубля за час расхватают.
- А в накладной? Покажи.
- Ну, полтора, рубль двадцать. Два сорта прислали.
- Так и будем торговать. Иначе нас на неделю тут хватит.
- Трусоват ты, как я погляжу.
- Трусоват, трусоват.
- Ты же сорок рублей уже отдал. Проторгуешься!
- Это так, - усмехнулся Павел. - Отдал, как вор, а работать хочу, как честный. Не сходится, это так.
- Знаешь, давай я поторгую. Ты еще и не оформлен, заявления твоего еще нет. Ты только рядом побудь, чтобы видели, что есть около меня человек. Если что, спрос будет с меня.
- Так не пойдет. Кто я, по-твоему?
- Павел Шорохов. Бывший знаменитый директор крупнейшего гастронома. Бывший заключенный. Бывший змеелов. Мой любовник. Тоже, может быть, бывший?
- Жаль, что они всю водку унесли. Жаль.
- Я открываю, Паша. Люди сходятся, покупатели. Первые!
- Что ж, открывай.

13

Между открытием и закрытием торговли прошло не больше часа. Вера была права. И никто из покупавших не усомнился в цене, одного боялись, что не хватит или что в следующем ящике слива будет похуже. Павел вскрывал ящики. Он скинул пиджак, засучил рукава, Вера велела ему нацепить передник - она и передник для него припасла, - что ж, так и работают на подсобке: открой, принеси, унеси. А затем награда: бутылка.

И когда кончились сливы, когда последние и уже незадачливые покупатели, скользнув обиженными глазами по коробкам с ненужными им консервами, ушли, Павел, шутя, потребовал этой бутылки:

- Хозяйка, с тебя причитается.
- Все тебе будет, Пашенька, все! - В ней еще жил азарт, она сладко пропахла сливой, она готова была на все, хоть немедля. - Здесь? Сейчас? Она огляделась, ища хоть какой-нибудь затененный уголок, она не шутила. Одно стекло. Хоть бы какая-нибудь подсобка была,

загородочка. Построим!

- Да, а пока нас могут не понять, - усмехнулся Павел.

- Перерыв! Нет, магазин вообще закрывается! Эти консервы никому не нужны! Идем! - Липкой, сладкой рукой, пропахшей сливой и деньгами, богом и чертом, она притянула за подбородок к себе Павла, целуя его, впиваясь в него сладкими губами.

Стребли, не считая, выручку в хозяйственную сумку, сдвинули ставни, навесили замки и бегом, бегом, да, почти бегом, - к красному дому, жаркому, манящему, сулящему.

Потом уже, когда отделились друг от друга, когда снова только стук сердца в ушах, когда снова дивился высокому потолку, на Павла вдруг такая нахлынула печаль, такая тоска, что хоть криком кричи, как от боли, от страшной боли, как кричал Петр Григорьевич.

- Что с тобой, миленький? - Она этот крик услышала в нем, хоть он и сдержал его в себе, прихватил. - Хочешь выпить? - Она бесстыдно перелезла через него, голая вступила в прорвавшуюся в щель занавесок яркую полосу света, тут теплой ей было идти, она совершенно не заботилась, что ее рассматривают, а может быть, заботилась, чтобы ее получше рассмотрели и трезвыми, отпылавшими глазами. Только очень уверенные в себе женщины не страшатся таких трезвых мужских глаз. Она не страшилась.

Ее комната, пока Вера хозяйничала у бара, Павел оглядел ее комнату, в первый раз всмотрелся во все, что окружало ее, к чему она прикасалась, мимо чего проходила, - вся мебель, все вещи здесь, они были предназначены служить чувственному, нагому этому телу, они ожили от наготы своей хозяйки. Зеркала, много было зеркал. Она все время была видна со всех сторон. Она стояла к нему спиной, а он видел ее руки, достающие бокалы, она пошла к нему, а он видел ее спину, ее бедра. Красного дерева комод был изогнут, как ее бедра. Две старинные картины на стене продолжали их сюжет, там тем же занимались нагие дамы и нагие кавалеры, чем и они сейчас занимались, но на картинах чуть-чуть стыдились все-таки. В зеркалах и себя он узрел. Не узнал сперва в этих подушках - сухотелого, напрягшегося, но поверженного в мягкое.

Она подошла, неся у груди два бокала, там, в зеркале, возникла картина: нагая красавица, опустившись на колени, протягивала своему возлюбленному бокал с вином. В возлюбленном Павел узнал себя. Он смотрел, как он протягивает руку, как он пьет, как она потом приникает к нему. Это не с ним все происходило, это происходило на тех двух картинах и на той, в зеркале.

Вдруг заверещал телефон - этот вопль из иного мира. Павел не успел удержать Веру, она выскользнула, побежала на звонок, погрузнев, подурнев, будто короче стали у нее ноги.

- Да, он у меня, а где же ему еще быть? - сказала она в трубку, выслушав чей-то напористый фальцет. Павел узнал голос: звонил Митрич.

- Да, за час все продали! Чем занимаемся? - Она оглянулась на Павла, придержала рукой качнувшиеся груди. - Паш, чем мы занимаемся? - Ей было весело, она была горда своей победой, ее губы сложились для озорного ответа: - Сказать?.. Что, что? - Она разом посерьезнела. - Ох, а мы и забыли! Ну, забыла, забыла! Хорошо, сейчас примчимся! - Вера повесила трубку, пошла к Павлу, подхватив по дороге халат, спряталась в него. - Паша, ведь похороны сегодня. Петра Григорьевича хоронят. Митрич велел приезжать. Раскричался даже. Как это я забыла?..

Пьяноватый, выпитый, Павел явился на похороны друга. Ну, пусть не друга, а человека, которого уважал. И человека, от которого последние принял слова. И ту тетрадь... Все забыл! Успел уже и провороваться и изваляться. Все забыл! Он клял себя, ему было стыдно людям в глаза смотреть. А Вера, эта бойкая, напористая бабенка, эта нагая красавица, эта, не поймешь, кто еще, а она сейчас в своем черном, строгом платье - успела, сообразила, что надеть, хотя собрались за минуту, - она сейчас была сама печаль, сама скорбь. Только глаза бедовые никак не могла пригасить, золотые свои цепочки и браслеты забыла снять, и рдели сухо у нее губы, она забыла их укрыть помадой.

Лена взглянула на Павла, когда он робко встал в дверях комнаты, где теперь лежал в гробу Петр Григорьевич, и отвернулась. Коротко взглянула, но этот взгляд обжег Павла. Она была какая-то на себя не похожая. Без сестринского своего халата, поэтому? Она была не в черном, а белом платье, печаль жила не в цвете ее одежды, хотя и белый цвет сродни печали, а в ее лице. Она не наигрывала печаль, не надумывала для себя ее, печаль владела ею.

В комнате было полно народу, много женщин, многие плакали. Мужчины были в своих вечерних темных костюмах, женщины в своих нарядных темных платьях. Показалось, все вырядились, чтобы идти в театр, но посреди комнаты стоял гроб, он уже утонул в цветах, только лицо Петра Григорьевича белело. Похорошевшее лицо. Смерть отпустила или так гример исхитрился? Таким был Петр Григорьевич раньше, лет с десятков назад. Это было лицо сильного человека, справедливого человека - в том неправом, увертливом мире, в который неведомо как занесла его судьба.

Мужчины, пришедшие проститься с Петром Котовым, были немолоды, осанисты, грузноваты. Многих Павел знал, узнавал, хотя за пять лет, всего за пять лет иные из них превратились в стариков. Мужчинам было в тягость молча стоять у гроба, а тут, в этой узкой комнате, затеяли что-то вроде почетного караула, время от времени происходило движение: одна четверка отходила от гроба, другая подходила, двое вставали в ногах, двое в голове.

Митрич появился за спиной у Павла, вытолкнул его вперед.

- К голове, к голове, другом тебе был. - Митрич тут всем распоряжался. - Саша, и ты теперь постой.

Скосив глаза, Павел увидел стройного паренька в солдатской форме с ефрейторскими лычками. Солдатская одежда была новенькой, хорошо подогнанной, с каким-то явным вольным допуском, когда солдат одет не хуже офицера, а, приглядишься, и получше. Сын был больше похож на мать, красив ее былой румяной красотой, но статен был в отца. Парень тоже скосил глаза на Павла, из мужчин они тут самыми молодыми были, между ними возник союз. Павел, нарушая ритуал, положил парню руку на плечо, а тот кивнул ему.

И женщины, собравшиеся тут, были немолоды, но были и очень молоденькие, начинающие, наверное, продавщицы из магазина Котова. Этим все было тут внове, интересно, занято, они даже не умели притвориться печальными. То, что случилось с этим старым человеком, справедливым, по-пустому не гонявшим их, и которого конечно же очень жаль, это страшное, что случилось с ним, их самих не могло коснуться, бесконечно было далеко от них, бестревожно далеко.

Печаль в этой комнате держалась на двух женщинах. На Тамаре Ивановне, которая еще ничего не поняла, беду свою еще не расслышала и только как бы прислушивалась к чему-то, плача, но только как бы готовясь еще к слезам. И печаль жила в Лене. Она поближе была к смерти, чем все тут, знала, как умирают люди. Смерть этого человека, последние дни, как он их прожил, слова, какие она от него услышала, возвысили его в ее глазах, он ей близким

стал, хотя она и была приставлена к нему по долгу службы, работала у него за деньги.

А сын, о котором так горевал Петр Григорьевич, а мальчик этот в сшитой на заказ солдатской форме, что у него на душе? Павел не снимал руки с его плеча, Павел верил, хотел верить, что этому мальчику, сыну покойного, что ему сейчас тяжело, больно, что он потому только не плачет, что еще не осознал до конца свою потерю. Сам же Павел терзался, винил себя, что забыл об этом человеке в гробу, что явился к нему, сам себе противный, сам себе ненавистный. Вера догадливо не лезла к нему на глаза, забились в уголок. Но все равно и из угла этого, отразившись в стеклянной поверхности двери, светились ее глаза, поблескивало ее золото.

В этой узкой комнате, всегда бывшей жильем, среди мебели и вещей для жизни, затеяли держать речи, как если бы прощались с человеком в каком-нибудь торжественном зале, специально предназначенном для этого, со стертыми приметам жизни.

Собравшиеся были не ораторами. Слова давались им трудно, они повторяли друг друга. Только и звучало: "Такой человек... Наш Петр Великий... Пусть земля ему будет пухом..." Сколько этого земляного пуха понесли к гробу, горы целые, пока Митрич, а он вел панихиду, тоже помянув этот пух, подвел черту церемонии.

Теперь надо было вынести гроб. Понесли друзья, среди которых оказался и Павел, оказался и Митрич.

Автобус уже ждал, по полозьям гроб вскользя в его нутро. Все стали рассаживаться, чтобы ехать на кладбище, - кто в автобус, кто в свои собственные машины. Тут ни одной не было "Волги", но и ни одного "Москвича" или "Запорожца", тут царили только "Жигули". Это были совсем новые машины, со всяческими усовершенствованиями, с мощными фарами, высокими или круглыми антеннами, с солнцезащитными устройствами, с дисками по специальному заказу, на ветровых стеклах этих машин обязательно покачивались какие-то куколочки, амулетики, даже скелетики. Павел понял, взглянув на машины, что за народ приехал проститься с Котовым. Деньги были, да, деньги у них были, но положение обязывало их не прыгать выше "Жигулей". Это все были торговые боссы из небольших магазинов, умный все народ, не вылезавший и не бахвалившийся тем, что имел. И все же и вылезало их существо и бахвалилось. Умные мужики, а наряжали свои машины, как купчихи дочерей.

Тронулся автобус. Тронулась вереница "Жигулей". Павел насчитал их до десятка в эскорте. Что же, с почетом покатыл в свой последний путь Петр Котов. Или же невелик был этот "жигулиный" почет? Не поймешь. С какой меркой подходить. Жаль, а вот жаль, что никто не поехал за автобусом на мотоцикле, на таком вот тигре, на котором гонял Петр Григорьевич почти до самой своей смерти. И чтобы рык моторный взорвал тишину, перерычав это "жигулиное" урчание. Павел наклонился к Саше, они сидели в автобусе рядом:

- Ты-то водишь мотоцикл?

- Нет, не моя стихия.

- А твоя - в чем?

- Ну, как вам сказать?..

- Теперь, наверное, из армии его отпустят?! - восторженно воскликнула Тамара Ивановна и с надежной поглядела на Митрича.

- Похлопочем, подключим кое-кого! - обнадежил Митрич.

- Сколько тебе осталось служить? - спросил Павел.



- Сто пять дней.
- Дни считаешь?
- А ты не считал? - спросил Митрич.
- Сравнил!
- Все одно - несвобода.

Автобус катил, они сидели у изголовья гроба, накрытого крышкой, и вот так разговаривали, уже отрешаясь от человека, которого провожали на кладбище, готовые друг с другом заспорить, уже было заспорившие. Павел одернул себя, не стал возражать. Да что ему Митрич? Этот круглый колобок укатился и тут от горя, какие бы грустные мины он не строил. Он тут распорядился, а не прощался, он стал нужен Тамаре Ивановне, ее сыну, он понимал, что нужен, и что-то уже для себя выгадывал из этого положения. Но почему он так кинулся искать какие-то записи, какие, возможно, остались после Петра Котова? Чего он испугался? Тетрадь, спрятанная в камере хранения на Рижском вокзале, все сильнее притягивала к себе Павла. Но и боязно ему было. Что там? Это как с нарытой кучкой земли под высохшим, но живым стволом саксаула в пустыне. Раз нарыта земля, значит, кто-то там есть, укрывается. Варан? Фаланга? Или там клубок змей? Но все ли они там, не уползла ли какая-нибудь за добычей? Оглянись, прежде чем ворошить это гнездо. Помедли, подумай. Вот Павел и медлил, боясь заглянуть в тетрадь, боясь, что начнут из нее выскакивать такие новости, которые не менее ядовиты, чем змеи. И снова спрашивал себя, почему ему, а не этому вот вполне уже взрослому парню, родному сыну, завещал свою тетрадь Петр Григорьевич?

- После армии чем собираешься заняться? - спросил у Саши Павел.
- Еще не решил.
- Пойдет в институт! - горячо сказала Тамара Ивановна, будто споря.
- В какой, мама?
- А в такой, где получишь хорошую профессию. Это уж твоя забота.
- А мы поможем, поможем! - подхватил Митрич.
- Зачем, мама, зачем мне ваш институт?
- Как это?!
- Сколько я буду получать, когда я его кончу? Сто двадцать?
- Так, так, так! - заинтересовался Митрич. - По стопам отца, может быть, хочешь пойти?
- Нет, те же сто двадцать, ну, двести, если не красть.
- Ну, это грубо! - сказал Митрич. - Мы, знаешь ли, головой работаем. Государство от нас получает все сполна, до копейки.
- Рад за вас, если вы такие хорошие, - улыбнулся парень. - А я буду телевизоры чинить, радиоприемники, мерекаю немного в этом деле, дружки, если надо, подучат, курсы там какие-нибудь кончу. Это в свободное время, в дневные часы.
- А в вечерние? - поинтересовался Павел.
- Буду стучать на барабанах, на тарелочках. Я - ударник. - И Саша, забывшись, легонько

простучал пальцами по крышке гроба, но тотчас отдернул руку.

- Он и в армии в оркестре служит, - сказала Тамара Ивановна. - Конечно, и это профессия, но там избаловаться можно.

- Везде избаловаться можно, - глянув на Павла, улыбнулся Саша. Он вообще был улыбочивый, и он был спокойный, миролюбивый, он возражал, не горячась. Похоже было, что он давно все для себя решил. И похоже было, что он ни в грош не ставил советы матери да и этого Митрича. Наверное, внимательно и улыбочиво выслушивая отца, он и с его мнением ничуть не считался. Своей мудростью жил паренек, улыбочивый, невозмутимый, иногда чуть-чуть ироничный. Новой чеканки поколение. Они свое возьмут, но без риска. Учиться? А зачем? На починке телевизоров, кончив какие-нибудь краткосрочные курсы, можно иметь много больше, чем имеет опытный инженер. А для души, да и для денег, снова для денег, - работа в каком-нибудь ансамбле, которых нынче столько, что даже в Кара-Кале один обосновался. Кричат, приплясывают, вихляя, безголосые, кудлатые, победоносные.

- Но музыке тоже надо учиться, - сказал Павел. - Годы и годы.

- Можно и так, а можно и сразу. Смотря какая музыка. Теперь у нас другая музыка.

- У нас, это у кого же, у молодых? - спросил Павел.

- Да, Павел Сергеевич. Даже вам нас уже не понять. А вы еще не совсем старый.

- Все же не совсем? - улыбнулся Павел, невольно перенимая эту спокойную улыбку.

- Не совсем, - улыбнулся Саша, благожелательный, разве чуть-чуть ироничный.

- Что говорить, неглупых ребятишек мы слепили, - сказал Митрич. Молодость пройдет - возьмутся за ум. Время еще для них не подоспело. А ум есть и спокойствие есть. Ценное качество - спокойствие. Стал замечать: умная у нас подрастает молодежь, спокойная. Не все, конечно, некоторые. На них и надежда. Что ж, барабань, Сашенька, барабань, чини свои ящики, чини. А надоест, вспомни, что был у твоего отца верный друг - Борис Дмитриевич Мионов. Александр Котов, сын Петра Котова. Это звучит. Поможем!

Так они ехали, сидя в похоронном автобусе, так разговаривали. Пресеклась жизнь, продолжалась жизнь. Того ли хотел для сына отец, иного ли, теперь уже неважно, он уже ничего не может теперь поделать. Он мучился, умирая. Не только от боли. "Жаль сына... Жаль жену..." Он платил, расплачивался за всю свою жизнь этой предсмертной мукой.

Хоронили Петра Котова на Долгопрудном кладбище. Оно было за чертой Москвы, из недавних. Здесь еще не тесно было. Здесь можно было предать земле тело, а не всего лишь пепел от тела. Петр Григорьевич по старинке хотел лежать в земле, это была его воля, высказанная жене незадолго до смерти. Больше ни о чем он для себя не попросил. Больше никаких напутствий, никаких пожеланий. Как ни выпытывал Митрич, никаких пожеланий, никаких поручений. Хоть записочки какой-нибудь после него не осталось ли? Ничего.

Долгопрудное кладбище было расчерчено на ровные квадраты, и эти квадраты были уже в обступы молодых деревьев, уже рдели цветами, венками. Но все же это еще было поле, недавний луг. Годы должны были пройти, чтобы стало кладбище кладбищем, затенилось, укрылось деревьями. Пожалуй, когда это случится, сюда уже Москва подойдет, окружит это скорбное место высокими белыми домами, замкнет, как замкнула некогда окраинное Ваганьково.

- Здесь бы и себе место приискать, - сказал Митрич, подставляя плечо под гроб, когда выносили его из автобуса.

- Рано тебе, Митрич, об этом думать, - сказал кто-то из несущих гроб. Ты живучий.

- Бог про это знает, а не мы с тобой. Нет, сюда не лягу, церкви нет.

- Давно ли, Борис Дмитрич, стал ты верующим? - спросил Павел, они шли рядом, и Павел никак не мог попасть в ногу с семенящим Митричем, сбивался с ноги.

- Давно, а сейчас и подавно.

- Мода?

- Мода - это спрос. Знать бы надо, товарищ экономист с высшим образованием. Ну, распахнули павильон? Начали?

- Вроде бы.

- А Павел-то у нас, Шорохов-то, заведует теперь фруктовым павильоном! громко объявил Митрич, полагая, что эту новость в самый раз сейчас сообщить тем, кто нес гроб, и тем, кто был поближе, шел за гробом. - На пару с Веруней нашей взялись за дело! Такие пироги! Еще и сосватаем их, как это водится у танцевальных пар в фигурном катании. Чем не фигуристы?

Смешок прошел среди тех, кто нес гроб.

Павел оглянулся, не услышала ли Митрича Лена. Она шла далеко позади, понурившись, отрешенно. Кажется, не услышала. А в самом конце процессии шла Вера, окруженная мужчинами. Кружок ее вел бойкую беседу, там смеялись, воровато прихватывая ладонями смеющиеся рты.

- Поженим, поженим! - не унимался Митрич. - Переведем "де-факто" в "де-юре". - Он было засмеялся, тоненько, радостно.

Павел недобро глянул на него.

- Забыл, Колобок, по какой земле катишься? Гроб несешь.

- Не горячись, не горячись, - делаясь строгим, спохватился Митрич. Твоя правда, хотя он не услышит. Между прочим, он меня Колобком не называл.

Так подошли они к отрытой только что могиле, еще даже дорываемой - один из рабочих еще был там, в яме. Оттуда взметалась на отвал от невидимой лопаты земля.

Гроб установили на легкий помостик, сняли крышку, чтобы можно было в последний раз поглядеть на Петра Котова, в последний раз проститься с ним. Он незряче глядел в беспечальное летнее небо, он ничего уже не чувствовал, ни о чем уже не думал, но казалось, что думал, думал. Отмучился, но все еще не до конца.

Заплакала Тамара Ивановна, громче, чем дома, откровеннее, осмысленнее. Подошел сын, обнял ее за плечи. Он поступил, как ему полагалось поступить, но был он спокоен. Выдержка? Равнодушие? Неужели он не любил такого отца рискованного, смелого, щедрого? Тогда кого же любить? Нет, это выдержка, это выдержка, парень в той поре, когда дорожат такими пустяками, как умение не выказывать свои чувства. Но лучше бы он заплакал.

Речей не было. Тут бы и сказать об ушедшем человеке, тут, под этим небом, среди этих могил слово бы прозвучало. Но тут говорить о Петре Котове ничего не стали. Неподалеку еще одна была свежая могила, там тоже только что установили на помосте гроб. Там звучали речи, ветер приносил обрывки фраз, там восхвалялась человеческая жизнь. Здесь прощались молча. Отговорили всё дома?

Павел подошел, наклонился, поцеловал холодный лоб, шепнул, сами слова вырвались:

- Помню, помню, Петр Григорьевич.

Рядом встала Лена. Она тоже наклонилась и поцеловала Петра Григорьевича, крестик выскользнул из ее разжавшейся ладони, упал к нему на грудь, затерялся в цветах.

- Господи, прими его грешную душу!.. - Лена торопливо отошла, крестясь.

Много народу столпилось вокруг гроба, а прощание вышло коротким, даже поспешным. Без обряда уходил Петр Котов. Не как коммунист, он им не был, не как верующий, он им не был, не прославленный в работе человек, он не был прославлен, напротив, ему слава бы повредила, не воевавший, он на войну не поспел, не было возле него никаких подушечек с наградами. Вот если бы поспел на войну, на года бы два-три раньше родился, может, с зачина этого и вся жизнь его иначе пошла? Поздно теперь об этом толковать. Хоть бы мотоциклисты, гонщики пришли бы к могиле проститься со своим товарищем, шлем бы на могилу положили, ведь дружное же племя, эти мотоциклисты. Но Петр Котов в одиночку гонял, он не был и из этого племени.

Стали опускать в могилу гроб, стали кидать на крышку громкие комья земли. Потом в три лопаты, кладбищенское и тут "трио" быстро засыпало гроб, быстро выровняло могильный холмик, быстро удалилось, получив у Митрича свой гонорар. Их ждала новая работа, людям свойственно умирать. Это "трио", кладбищенское, было собрано не из бедолаг, в него входили молодые и спорые мужчины, одетые в ладные спецовки, больше всего похожие на геологов. Возможно, они и были геологами или там какими инженерами, приватно подрабатывающими на кладбище? Спокойный был народ, корректный, хотя быстрая, азартная работа, выгодная работа нет-нет да и побуждала их к улыбке.

Провожавшие, проводившие тоже заспешили к воротам. Только близкие остались у могилы, но скоро и они пойдут. Их ждали у ворот, торопили взглядами. Предстояли поминки. Вот поминки - это был обряд, который годился и для Петра Котова.

15

Назад ехали быстрее, гнали машины, кое-кто из "Жигулей" перегнал автобус. В этой скорости угадывалось избавление, отрешение от трудного, тягостного, от печали.

И вот в той же комнате, за тем же столом, на котором стоял гроб, но теперь этот стол был укрыт белоснежной, накрахмаленной скатертью и был заставлен тарелками с едой, тесно уселись, сгрудились поминальщики и поминальщицы Петра Григорьевича Котова. Как говорится, ломился стол от яств. Хоть этим изобилием да можно было установить ранг человеческого усопшего. Если было что-нибудь в Москве дефицитного, копченые угри там среди лета, бледно-розовая семга, стерлядь, да, стерлядь, будто закружившаяся на блюде, вчера, ну, позавчера еще плескавшаяся в верховьях Камы, каспийские громадные раки, дальневосточные розовые креветки, балтийские золотые копчушки, - всё, весь рыбный дефицит был представлен на этом столе. Тут царили дары рек, морей и даже океана. И только громадное блюдо румяных пирожков на краю стола было не из рыбного парада. Водка стояла не в бутылках, а в хрустальных графинах, хрусталя было столько, что он сам между собой завел разговор, непрерывно позванивая.

Место всем за главным столом не хватило, хотя чуть ли не на коленях друг у друга сидели. Был накрыт и еще стол, были сдвинуты тумбочки, ступившие уже за порог комнаты, в

коридор, но яства и там были все те же. Пожалуй, таким столом остался бы доволен и хлебосольнейший Лефорт, ожидающий к себе в гости друга своего царя Петра.

Как расселись за главным столом? А пожалуй, как во времена молодого Петра, когда еще сила была за боярами, когда чинились бояре, задами выжимая себе попочетнее место на лавке, поближе чтобы к царю. Во главе стола рядом с Тамарой Ивановной и Сашей круглился Митрич. Далее, по правую и по левую руку, строго соблюдая какой-то незримый, но явственный чин, уселись солидные, плотные мужчины, где-то у себя, в недрах торговой Москвы, так-то и так-то авторитетные. Павел присмотрелся, он знал тут многих, это были все больше рыбного товара мастера, "океанологи", как их шутя звали в торговом мире, хотя Петр Григорьевич никогда специально рыбой не занимался, заведя небольшими магазинами, торговавшими фруктами, овощами и вином, ну и рыбными консервами.

Да, а где же сам Павел очутился, так сказать, друг покойного, участвовавший в несении гроба? А он у самого порога очутился, деля половину табуретки с каким-то моложавым, облыселым, вертлявым гражданином, украсившим свою длинную, кадыкастую шею официантской черной бабочкой. А где была Лена? Осталась на кухне, чтобы помогать хозяйке, которой было не до хозяйских забот. Сама, наверное, вызвалась, ее бы не посмели отодвинуть, задвинуть. А где была Вера? Ее напористый голос доносился тоже из кухни, но там она была за командира. Всё так, все на своих местах. Здесь, у порожка, и должен был сидеть прогоревший человек, из милости получивший от Митрича кой-какую работу, продавец сезонного товара.

Митрич поднялся, спросил строго:

- У всех налито? - Он выждал, когда у всех будет налито, переждал хрустальный перезвон. - Вот собрались мы тут все свои, чтобы помянуть нашего друга Петра Григорьевича Котова. Он у нас не лез в большие шишки, скромно трудился, но всегда мог принять друзей, всегда мог. - Митрич повел рукой, показывая столы. - Петром великим мы его звали. Заслужить было надо такое имя. Помянем! - Митрич зачем-то прикрикнул фальцетом: - Не чокаясь! - И снова прикрикнул: - Стоя!

Все поднялись, что сделать в этой тесноте было непросто, особенно если помнить, что потом надо будет снова сесть на свое место, не дать себя сдвинуть. Водку глотали старательно, истово. Даже кому нельзя, - печень там, почки, сердце, - в такой день можно. Все в тебе больные органы в такой день здороваются, ибо ты живой, ты поминаешь, не тебя, а ты поминаешь, и человека, который был моложе тебя, казался прочнее тебя. Пей, стало быть, не раскисай! Еще поживем!

Когда на поминках дан верный зачин, когда даже покрикивают на тебя, чтобы выпил, и когда такое угощение, то весьма быстро могут превратиться поминки в обыкновеннейшую пьянку. Говорят, что так оно и нужно, чтобы горе разжать. Но пьют-то на поминках не те, кто в горе. Говорят, что вдове почему-то всегда вдовы остаются, а не вдовцы, не мог сейчас вспомнить Павел, что бывал на поминках у вдовца - поминки нужны, чтобы ощутить свое одиночество, чтобы не утрашиться будущим, что есть, мол, друзья, они не оставят. Друзья, действительно, они не оставят, если это только на самом деле друзья.

Быстро пьянел народ. Шум начался. Говорили в разных концах и все сразу. Пили, крича, чтобы не чокались, это самым главным было, чтобы не дай бог не забыл кто-нибудь и не стукнул о чужую рюмку своей. И уже давно, сперва опасно, а потом дав себе полную волю, где-то, кто-то чему-то смеялся, и звенел хрусталь все громче, звонче. Конечно же говорили о делах, о своих делах. Рыбка была на столах, рыбка жила в разговорах. Трудновато стало с этой самой рыбкой, прижали товар. Океан, он родил, как и раньше, хватало еще осетров и в Каспийском море, не перевелась еще рыба и в реках, но "прижали товар", за каждым хвостом по ревизору. Их бы в рыбаки, на сейнеры, этих ревизоров, чтобы не мешали торговать. Вдруг

возник тост. Он как бы у всех разом к губам подступил, вскочили сразу несколько из самых солидных мужчин, перебивая друг друга, заговорили, слагая свой, но и общий тост. Слова смешались, затолкали друг друга, но одно слово из общего гама вынырнуло, утвердилось, это слово было чужеродно, слово-уродец, что-то вроде гибрида стерляди и белуги - "бестер". Это слово было - дефицит. Пили за его величество дефицит!

Митрич подхватил этот тост.

- Конечно, не к месту, не тот повод, - сказал он. - Но можно выпить. И тут уж надо чокнуться. Хрусталь об хрусталь! - приказал он.

Зазвенел хрусталь, дождался своего мига.

- Что говорить, - продолжал Митрич. - Откровенно скажу, свои люди, признаюсь. Дефицит - это наша последняя зацепка. Красть? У государства нашего? Да боже упаси! Но... если чего-то нет, а ты сумел, достал, уважил человека, так почему же не?.. - Тут Митрич пощелкал пальцами в поисках нужного слова, но так и не нашел его. - Короче говоря, хрусталь нас понял.

Хрусталь понял, он звенел, ликовал, он не привык к поминкам, они томили его, глушили.

- Павел! Шорохов! - так и не садясь - разошелся речи держать, - позвал Митрич. - Ты-то почему в дверях сидишь? С высшим-то образованием среди нас, самоучек? Ну-ну, поскромнел, это хорошо. Друзья, вот вернулся к нам Павел Шорохов. Поел трески или там нототении этой, отмучился. Принимаем?

- Принимаем! - гаркнул стол.

- Во фруктовый павильон пока откомандировал его. Комплексно теперь я торгую, братцы, и рыбкой, и фруктами. Когда это было? Никогда! Разных ароматов товары. А теперь велят. Комплексно велят жить. Тут надо подумать, не сулит ли что нам это слово. Паша, ты подумай, полистай институтские конспектики. Как торговать-то начал? Себе в убыток небось? Ты Веру пожалей, напарницу свою. Да ты отчего невеселый?! - Спросив, Митрич спохватился, смутился, торопливо усаживаясь, проборматывая: - Да, да, ну, ну, всем нам сегодня невесело, это так.

Непонятный вдруг звук послышался в комнате, все прислушались: всхлипывала Тамара Ивановна, вытянулся этот всхлип, вызвенился, стоном стал.

- Мама! Ну что ты, мама?! - Сын обнял мать, спокойный, сдержанный, с сухими глазами.

Павел поднялся и вышел в коридор, вошел в комнату, где провел ночь, где пребывал еще мотоцикл-тигр, хотя и потесненный уже к стене. Эта комната сейчас служила подсобкой для кухни. Тут на стульях, на койке, даже на широкой спине "тигра" были наставлены блюда со сладостями. Какая-то женщина, с подобранной под белую косынку пышной косой, занималась сейчас тут этой кондитерской на дому. Тут пахло ванилью, корицей, тут пахло сладко и приторно после прокопченного угара, из которого выбрался, откуда сбежал Павел. Но тут еще сберегся запах бензина и смазки, этот запах показался Павлу живым.

Женщина обернулась к Павлу. Он не сразу узнал ее, хотя, едва вошел, понял, что знает эту женщину. Она изменилась, постарела, стала сильно подкрашиваться, а раньше совсем не красилась, чем и пленила его. И еще эта редкостной красоты коса, за которую Зинаиду звали в ее отделе спорттоваров боярышней. Да, это была Зинаида, его бывшая жена, мать Сережи.

- Вот и встретились, - сказала она. - Что ж это ты так?

- Как?

- Сына во дворе подкараулил. Ну, знает он о тебе, решила не скрывать, но надо бы было, чтоб я сама вас познакомила. Все с наскока, не переменялся. - Она рассматривала его, недовольно сведя брови. - А ты, говорят, уже пристроился? Господи, Верка! Переходящий красный вымпел! Как думаешь помогать сыну? Если с зарплаты, так какая у тебя там зарплата. Надо, Павел Сергеевич, по совести сыну помогать, с реальных доходов.

- Буду. По совести. До сих пор помогали?

- Из чужого кармана. Я брала, конечно. Парень растет. То нужно, другое нужно. А Валентин мой что добудет, на себя и сбудет. Тоже подарочек! Как начало мне с тобой не везти, так до сих пор не везет. А ты мало изменился. Что им, мужикам?! Их сажают, а они еще краше делаются. Подтянулся, жирок-то согнали. А шрамы-то какие! Только на руках или еще где? Ох, Паша, а ведь я тебя любила!

- Никогда ты меня не любила, Зина. Никогда.

- Вiniшь, что вышла за другого? Подумай, тебе восемь лет присудили. Знающие люди говорили, что потом еще добавят. Никак не думала, что вернешься через пять, что вернешься таким.

- А ты все же думала, прикидывала?

- Ты, что ли, был мне верен? Мне потом про тебя порассказали! И опять, только вернулся - и к Верке в постель. Знакомых там не встретил? Меня не вини, себя вини.

- Как ты тут очутилась? Почему на кладбище не была?

- А пирожки? Ты разве по пирожкам не понял, что я здесь? Забыл мои пирожки?

- Забыл.

- Ничего, Верка тоже способная кулинарка. Многие нахваливали.

- О сыне когда поговорим?

- А мы разве не поговорили? Должен ему теперь помогать - вот и весь разговор. Я так решила: встречаться вам часто не надо. Какой ты ему пример? Я спрашивала, о чем у вас был разговор, а он ничего и вспомнить не смог. Про собак, говорит, разговаривали. Пусть уж растет без отца, если так получилось.

- Как с ним твой муж? Что он у тебя за человек?

- Да ты с ним только что на одной табуретке сидел.

- Ах, это он?!

- Ах, это он! Не понравился? Какой уж есть. Смешно, я глядела, сидите рядом, а не знаете, кто есть кто.

- Да, смешно.

- Познакомить?

- Нет. В другой раз как-нибудь. Он что же, часто бывал у Петра Григорьевича?

- В первый раз сегодня. Митрич позвал меня. Из-за пирожков, ну и мужа разрешил

прихватить. Стол отличный, верно?

- Верно, стол отличный. Я пойду, Зина. Вот, возьми для сына... - Павел выхватил из кармана пиджака вместе аж с оберткой то, что оставалось от тысячерублевой пачки десяток. - Тут сотни четыре, не считал.

- Хорошо живешь!

- Хорошо.

- Но это на какой срок? Ты уж уточни, мне точность нужна.

- Хорошо, уточню. Как ему живется все-таки, как ему живется, Сереже?

- Станный вопрос. Как мне, так и ему. Иди, раз собрался уходить. К Верке спешишь? Она на кухне командует. Поддателя!

Павел повернулся, рукой тронул, как за дерево подержался, мотоцикл, прощаясь с ним теперь уже навсегда, и вышел из комнаты.

В коридоре, у вешалки, стояла Лена.

- Я ждала вас, - торопясь и шепотом заговорила она. - Вы уходите?

- Да.

- Тогда подождите меня у входа в метро. Обязательно подождите. Минут пятнадцать, двадцать. Я вырвусь. Обещаете?

- Обещаю.

Близилась сумерки. Солнечный диск, идя на закат, наново зажег окна, но другие, не те, что утром. Дома тут, выстроенные так, чтобы окна в них смотрели и на восток и на запад, вспыхивали, как от пожара, и утром и вечером. Но не сгорали. А сгорали люди, жившие в них. Они умирали и утром, и вечером, ночью и на рассвете. А сперва, еще до смерти, задолго до смерти, тяжкая овладевала ими мука: так ли жили? Одни доказывали себе, что так. Другие сомневались, торговались с совестью. Третьим не дано было и это сомнение.

Уходя, проходя мимо, Павел вслушался в развеселый гул, вырывающийся из окна комнаты, где еще недавно жил Петр Котов. Веселье это перечеркивало его жизнь.

16

Павел присел на ту же скамью возле входа в метро, на которой собирался с мыслями вчера утром. Вчера утром! Опять так тесно сгрудились события, что от вчерашнего раннего утра до сегодняшних сумерек не полтора дня прошло, а какой-то совсем иной срок, долгий, вытянувшийся, истомивший, как долгая дорога. И не туда дорога. Идешь, а чувствуешь, что надо будет назад поворачивать, что заблудился. Но назад повернуть решимости нет, далеко слишком зашел, вымотался.

Поминки эти еще гудели в нем. Он весь пропах ими, рыбный и ванильный запахи засели в ноздрях. Он сейчас вдыхал запах угретого асфальта, чтобы отдышаться. На этих поминках, беспмятных к умершему, еще и поглумились над живым. Над ним, над Павлом Шороховым, глумился там Митрич, вымарывал его, рассказывая всем и про фруктовый павильон, куда



пристроил Павла, и про Веру, к которой пристроил Павла. Шутил будто бы, благожелательствовал, но цель была иной. Зачем-то надо было Митричу его унижить. Чтобы отныне знал свое место? Кем был, забудь, помни, кем стал. Он и так про многое забыл, он и так знает, кем стал, кем становится, потому и сел в дверях.

Особенно противно было Павлу, что угораздило его поделить табурет с этим вертлявым официантом, с нынешним мужем Зинаиды. Из головы не шел разговор с Зинаидой. Все не так, все не то! Как очутилась Зинаида со своим мужем дома у Петра Григорьевича, где раньше никогда не бывала? Из-за пирожков? Вот так пирожки! Вот так Колобок!

Теперь он ждал Лену, сестру милосердия, которая станет наставлять его на путь истинный, укорять словами, как укоряла взглядами. Может, вручит ему крестик, помолится за него? Ее-то он зачем ждет? Мало ему?

Павел встретил Лену враждебно:

- Плохой я, ну заблудший, знаю об этом. Можете не говорить, знаю.

Она села рядом с ним, быстро взглянула на него, улыбнулась.

- И не собиралась. Я только хотела спросить, вы тетрадь ту прочли? Я не спрашиваю, что там. Но прочли? Умиравший завещал, это воля умирающего.

- Еще даже не раскрыл. Негде.

- Я думаю, у Веры дома читать вам тетрадь не следует.

- Я тоже так думаю.

- У меня сегодня ночное дежурство. Я одна живу. За ночь и прочитаете. Поехали?

- К вам?

- Я знаю, я уверена, что у вас куча друзей в Москве, но все станут спрашивать, что читаешь, про что там. А у меня никого нет. Будете чаек попивать и читать. Павел, не зря умирающий отдал вам эту тетрадь. Я знаю, как умирают люди. Это важная тетрадь.

- Там еще все расшифровывать нужно. Смогу ли?

- Вы не бойтесь, вы начните. Он на вас рассчитывал. Он даже со смертью потянул, ждал вас.

- Со смертью разве потянешь?

- Можно, если очень нужно. Поехали, вы не бойтесь.

Павел поднялся, злой, что его понуждают, что опять куда-то тащат.

- Вас, что ли, мне бояться?

- Не меня, тетради.

- Тетрадь можно и захлопнуть. Вы где живете?

- Рядом с Садам имени Баумана. Улица Маркса.

- А я раньше жил на улице Чкалова. Также рядом с Садам Баумана.

- Видите, какое совпадение. Соглашайтесь.

- Хорошо, поехали. Но сначала надо заскочить на Рижский вокзал, в камеру хранения.

- Хорошо, заскочим на Рижский. Только на метро, ладно?

Они вошли в метро. Вступая на эскалатор, Павел взял Лёну под руку. Так они и спустились, стоя рядом. Со стороны взглянуть, ехала куда-то парочка, но не совсем пара друг для друга. Мужчина был красив, отлично одет, загар его был загадочен, а женщина рядом с ним, хоть и была она молода, выглядела серенькой в своем белом, немодном платье, которое, наверное, сама и сшила.

В камеру хранения Павел пошел один. Лёна осталась ждать его у входа. Она всю дорогу старалась не досаждать ему, не напоминать о себе, помалкивала. А он думал о своем, и хмурыми, злыми были его мысли, он там еще был, на этих поминках, где его высмеяли, вымарали.

Он вышел к Лёне, помахивая чемоданчиком, стройный, поджарый, решительный, красиво-хмуроватый. Это со стороны если взглянуть, а на самом деле он был растерян, подавлен, чемоданчик в руке пугал его, чужим казался.

Лёна жила в высоком панельном доме, еще новом и со всякими новыми затеями. Сперва надо было нажать на три кнопки, сообщив некоему устройству в ящике на двери тайный код, и тогда лишь дверь отворилась.

- Наш код - двести пятьдесят семь, - сказала Лёна. - Запомнили?

- Двести пятьдесят семь, - машинально повторил Павел. - А зачем это мне?

На этаже, прежде чем очутиться у двери своей квартиры, Лёна должна была отомкнуть дверь, которая впускала в коридор, общий для трех квартир.

- Соседи настояли, - сказала Лёна. - У меня красть нечего.

- А невинность? - скверно пошутил Павел. Обозленный, обиженный человек всегда норовит кого-нибудь тоже обидеть, и почему-то чаще всего того, кто добр к нему.

Лёна промолчала, только взглянула на него прямо, будто удивилась, а потом занялась замком.

- Вот мы и дома, входите, Павел Сергеевич.

Из крохотной передней вся сразу открылась квартира, вернее, квартирка. Шаг туда, шаг сюда - и Павел все сразу разглядел тут, весь мир этой женщины, мир ее дома, простой, без утаек. В передней висел вырезанный из "Огонька" и наклеенный на картон портрет Есенина. В комнате, на книжной полке, стояла в бедном окладе икона - женщина, склонившаяся над младенцем. Шкаф из недорогих, телевизор из самых недорогих, тахта с белоснежными подушками горкой, как убирают постель в деревне. Половички домотканые тянулись в комнату и в кухню. Павел шагнул в кухню, очень прибранную, где стоял холодильник, и тоже из самых дешевых. Кухня была крохотной, даже одному тут было тесновато, но у этой кухни во всю стену было окно, а за ним, в сумеречном небе, строго и близко стояли золоченые купола церкви на Старой Басманной.

Шагая, оглядываясь, Павел почувствовал, как разжимается в нем злая пружина. Эта церковь была видна и из окна его дома, он помнил эти купола с самого детства. Тогда они были темными, церковь была заброшена.

- Смотри-ка, позолотили купола! - обрадовался Павел.

- К Олимпиаде, - сказала Лена. - Большая вышла польза для Москвы от Олимпиады. Вы тут мальчишкой, наверное, бегали?

- В Бауманском саду есть старинный грот. Сохранился?

- Кажется. Я там всего раз один и побывала. Я ведь тут недавно. Эта квартира мне чудом досталась. Дежурила по ночам у одного больного, поправился он, кинулся мне помогать. Есть хорошие люди. Ну просто кинулся помогать. Утвердился в мысли, что я его спасла. Не я, доброта его живая спасла. Есть хорошие люди. А сейчас чайку попьем, и я побегу. До самого завтрашнего утра будете тут хозяйничать.

- Снова к какому-нибудь умирающему?

- Да, тяжелая больная. Мать одного знаменитого режиссера. Не хочет в больницу, никак ее не уговорят.

- Это ваша специальность, Лена, дежурить возле умирающих?

- Моя специальность отнимать их у смерти. Редко, но удается. Вместе с врачами, конечно.

- Те, что ходили к Петру Григорьевичу, показались мне шарлатанами. Ведь все же было ясно.

- Вы не правы. Надо всегда верить в чудо. Но если даже все ясно, то все равно надо помогать человеку жить, не торопить его. Вы какой чай любите? Крепкий? Гок-чай, он ведь крепкий?

- Как заварить. Но вообще-то крепкий.

- Обязательно раздобуду себе такого чая. Для дежурства, чтобы не хотелось спать.

- Трудная у вас работа, Лена.

- Да, она трудная. Но я легкой не ищу. От легкой работы тяжелые сны снятся.

Они подсели к маленькому столику, на который Лена поставила чашки с чаем.

- А как вышло, что вы стали работать медицинской сестрой? Призвание? И вот такой сестрой?

- Пять лет я выхаживала мать. У нее были парализованы ноги. Вот конфеты берите. Опять совпадение, конфеты называются "Кара-Кум". Потом муж у меня очень болел. Не отбила я его. У него был врожденный порок сердца.

- Так вы были замужем?

- Да.

- Тогда зачем?..

- Это я сама придумала. Так мне легче. После смерти мужа мне никто не нужен, а когда дежуришь по ночам в чужих домах, то так легче. Вот видите, Павел, как я вам доверилась. Петр Григорьевич тоже вам доверился. Не всякий может стать змееловом, я так думаю. Неужели они вас скрутят, неужели скрутят? - Она поднялась. - Ну, я побежала. Захотите есть, загляните в холодильник. Что-нибудь да найдется. Водка тоже там есть. Вдруг потянет. И, прошу вас, курите, не стесняйтесь. Да, сейчас я вам белье постельное достану. - Она вбежала в свою комнату. - Вот, на стул кладу. Только одна к вам просьба, Павел. - Лена стояла уже в дверях. - Если будет звонить телефон, не снимайте трубку. У меня ведь нет ни отца, ни брата. Условились?

- Хорошо. Спасибо вам, Лена.

- Побежала! - Дверь за ней затворилась, пробежали шаги по коридору, потом проскрипел лифт. И все стихло.

Не вставая, Павел дотянулся до чемоданчика, поставил его на табурет рядом с собой. Достал ключ, отомкнул замки, откинул крышку. Сперва он вынул из чемоданчика электрическую бритву, положил ее на стол. Потом вынул тысячерублевую пачку десятков, сунул ее в карман. Подумал, помедлил и вынул тетрадь. В клеенчатом переплете, распухшую от записей. На переплете сохранились следы от клейкой ленты. Видно было, что тетрадь много раз обматывали этой лентой, чтобы как бы замкнуть и от других, но и от себя. Потом ленту снимали, потом опять запечатывали ею тетрадь. Переплет у корешка был в белесых подтеках. Наверное, Петр Григорьевич много раз перепрятывал свою тетрадь, попадала она и в сырые тайники. То были очень тайные тайники, ведомые только одному человеку. Даже жена Котова не знала о существовании этой тетради. "Никому..."

- Что ж, приступим! - вслух сказал Павел, подбадривая себя, и открыл тетрадь.

17

Сперва он подумал, что это дневник. Не очень-то был похож Петр Григорьевич на человека, ведущего дневник, но он вот на мотоцикле гонял, странное занятие для его профессии. Котов вообще не вмещался в рамочки, возможно, что и вел дневник. Но если дневник, то какой-то загадочный. Страницы были испещрены цифрами, датами. Деловой дневник? Не про то, кого встретил, с кем время провел, где отдыхал, как болел, как поправился, что с женой, что с сыном. Дневник про то, как работал? Но тогда это очень недавняя затея, даты на первых страницах отбегали всего лишь года на три назад от нынешних дней, ко времени, когда, наверное, Петр Григорьевич начал задумываться не столько о своей работе, сколько о своем здоровье. Тетрадь, где подводились итоги? Чему - итоги? И почему в эти сроки?

Надо было вчитаться, войти в эти записи, вникнуть в них, не торопиться с догадками, с насока что-либо понять было невозможно, требовалась расшифровка. Могло показаться, автор этих записей боялся самого себя. Он заносил их мелким почерком, часто обрывая слово, делая его непонятым. Много было заглавных букв, всего лишь буква и точка. Это могли быть фамилии, но могли быть и какие-нибудь обозначения. Ни одной фамилии на первых страницах Павел не встретил - только заглавные буквы. Но цифры были выведены четко, даты были выведены четко. Цифры пребывали не в одиночестве, они обозначали количество товара - в тоннах, в центнерах, реже в килограммах. Обозначалось число ящиков, когда речь шла о вине. Назывался товар, назывались сорта вин. На первых же страницах появились маленькие чертежики-схемы, скорее всего обозначавшие движение товара, стрелки указывали это движение. Но откуда, к кому, куда дальше, кто выдал и кто получил, про это говорилось буквами, лишь буквами. И так - страница за страницей.

Павел закурил, прошелся, вернее, шаг всего сделал по кухне, вошел, чтобы хоть чуть пошагать, подумать, в комнату. Комната была совсем небольшой, но там было мало мебели, даже отсутствовал стол, и можно было ходить от двери к окну, от окна к двери. Потемневшие в вечернем небе купола оживали от бликов очень где-то далеко вспыхивающих фар. От других машин, других фар ходили блики по стенам. Угадай попробуй, какая это машина, где пронеслась, от которой лег свет на купол, на стену. Угадай попробуй, что в этой тетради, лежащей на кухонном столике, зачем она, эта тетрадь. Пришла догадка: название товара надо увязать со схемой. У всякого товара есть свое место отправления, есть свой путь. Рыба не идет из Молдавии, вино не идет из Клайпеды.

Павел кинулся к тетради, всмотрелся в одну схему, в другую, связал их с тем товаром, о котором упоминалось перед чертежом. Догадка его не подтверждалась. Традиционный путь астраханских арбузов не мог кружить, арбузы шли к Москве баржами, прямыми линиями, завершали путь по каналу, а схема кружила, будто арбузы плыли по сужающейся спирали. Рефрижераторный фургон Мосавтотранса с пятью тоннами винограда должен был бы проделать долгий путь, длинные бы должны были лечь на схеме линии, а схема была тут коротенькой, была всего лишь треугольником. И в вершинах этого треугольника стояли, как в теоремах, три заглавных буквы: В., Т., М., если прочесть их по часовой стрелке.

Рыба, центнеры рыбы, кефалевой, сельдевой, скумбриевой, осетровой, рыбы с разных концов света, путь которой по суше мог бы начаться с Мурманска, Одессы, Клайпеды, Астрахани, Краснодарска, Владивостока даже. Эта рыба тоже по коротким путешествовала схемам, а иногда плутала, кружилась, перекидывалась, как по речным порогам, когда идет на нерест. И снова лишь заглавные буквы в конце каждого отрезка схемы. Догадка не подтверждалась. Что-то очень тревожное жило в этих темных схемах, в этих запутанных линиях, ясных только тому, кто их чертил. И никакого ключа, чтобы отомкнуть тайну. Попробуй расшифруй! Но уже понял Павел, что не отступится, дознается. Понял, что тетрадь кричит ему про серьезное, про такое, о чем Петр Котов даже сам с собой секретничал, не доверяя тайникам. А вдруг кто обнаружит, раскроет, поймет. Но тогда зачем, умирая, он отдал тетрадь ему? Пускай бы эта тайна и ушла в могилу вместе с владельцем тетради. Нет, не для того тут все писалось и чертилось, чтобы сгнить. А для чего?

Страница, еще страница - даты, цифры, название товара, обозначение емкостей - машин, рефрижераторов, барж, вагонов, а потом схемы, но не проясняющие, а все запутывающие, и эти заглавные буквы, всего лишь буквы с точками.

Пожалуй, надо было ложиться спать. Утро вечера мудренее. Но тетрадь притягивала, затягивала. Еще страница, еще страница. Сюда бы ученого! Какой-то историк, ленинградец, Павел сейчас не мог вспомнить его фамилию, положив многие годы труда, прочел все же письма исчезнувшего народа майя. Его бы сюда, этого ученого. Но тетрадь эта не для ученых, иная в ней жила темнота, иная наука. То была его, Павла, наука, он сам был - майя. Его приговорили за эту науку к восьми годам. Он отсидел четыре, вырываясь на свободу, выламываясь, вырвался. Он год змей ловил, чтобы не красть, но вернуться с деньгами, ибо без денег свобода не смотрелась. Вернулся, да, но опять все та же наука. Приговорен он к ней, что ли? Эта наука, этот опыт должны были помочь Павлу растемнить тетрадь Котова, тот рассчитывал, что Павел сумеет. Не получалось. А надо понять, необходимо понять. Если дом охвачен пожаром, а на стене висит схема, куда бежать, чтобы выбраться из огня, то надо эту схему запасного выхода суметь прочесть, понять и не тянуть с этим, огонь ждать не будет. Огонь уже подобрался к Павлу, Павел уже ступил в него. Поймет ли, найдет ли путь к запасному выходу? А есть он, этот выход? В этой тетради выход? Зачем, умирая, ему отдал ее Петр Григорьевич?

Павел сунулся в холодильник, поискал предложенную Леной водку. Да, стояла початая бутылка, заткнутая пробкой от какого-то лекарства, такими пробками виноделы не пользуются. Может, с год стоит тут эта бутылка, чуть-чуть только тронутая в день новоселья, одинокого новоселья. Павел не решился взять эту бутылку.

Он снова вернулся к тетради, взял со стола, пошел с ней в комнату, начал ходить, петляя по комнате, как петляли иные схемы. Павел даже понюхал тетрадь, близко поднес к лицу, листанул, рассматривая в общем и в целом. На первой странице, где цветная бумага, где школьники выводят свое имя, свою фамилию, пишут, из какого они класса, из какой школы, в самом углу этой страницы, в левом нижнем углу, забившись под самый корешок, чуть-чуть виднелась цифра восемнадцать. Даже не цифра - две закорючечки, забившиеся в складку на корешке. Но когда листанул тетрадь, когда складка на миг разжалась, эти закорючки явственно обозначали - восемнадцать. Ну и что? Тетрадь была

пронумерована Петром Григорьевичем. Павел открыл ее на восемнадцатой странице и вернулся на кухню. Ну и что, подумаешь, находка?! Он сел к столу, чувствуя, что познабливает его, вспомнив себя таким, когда на отлове вдруг с какого-нибудь холмика беспричинно сыплется совсем немного песка. Змея! Изготавливайся!

Азарт мешал ему читать восемнадцатую страницу, слишком всматривался, вцеплялся в каждую букву. Надо было переждать этот в себе азарт, надо было оглянуться, как его учили. Он оглянулся на окно, всмотрелся в темные купола, по которым шли редкие блики. Не веруя ни во что, он помолился, попросил купола, застывшие в небе кресты помочь ему.

Страница была такой же, как и уже прочитанные. Цифры, даты, тонны, центнеры. Была и схема, из тех, которые кружили. В конце этих кругов, в конце хвоста стояла не буква, в первый раз стояла не буква, а имя. Странное какое-то, не сразу открывшееся, отчетливо знакомый звук, но забытый, откуда.

- Митрич! - вслух произнес это слово-звук Павел и вскочил, начиная понимать.

Но надо было еще проверить, надо было еще проверить. Он поднес тетрадь к глазам, встал под самую лампу, дочитал страницу до конца. Только один раз, будто ошибившись, проговорившись, написал не букву, а имя Котов. В других местах, где кончались линии схемы, где начинались углы-изломы, стояли буквы. Только один раз проговорился Котов. Но он не проговорился, он хотел, чтобы эту страницу нашли, он ее обозначил, хотя и припрятал цифру в складке бумаги у корешка. Павел начинал понимать. Но тут его нервы сдали. Он выхватил из холодильника бутылку, выдернул медицинскую эту пробку, стал глотать из горлышка. Пил, и в голове ясно.

Понял! Он оторвался от бутылки, поставил ее на место, спокойно, нарочно медленно сел к столу. Он вернулся к первой странице, медленно листая, дошел до восемнадцатой. Так оно и есть: буква "М." завершала все схемы. Все заглавные буквы выходили к нему, к Митричу, а каждая буква была фамилией или кличкой. Товар шел от человека к человеку, передавался по цепочке, вращался Митричу. Вот так Колобок!

Это был вовсе не дефицитный товар, не всегда дефицитный, но его было много, всегда много. Вагоны, машины, контейнеры. Товар плутал не по всей стране, шел не из портов и с морей, он кружил по Москве. Митрич завершал схему. А кто ее начинал? В начале всех схем, когда дело касалось рыбы, стояла буква "Р.". Когда дело касалось других товаров, буквы были разными, но повторялись, часто повторялись. Павел не мог, как ни напрягался, расшифровать эти буквы, населить их людьми. Тетрадь была начата чуть больше трех лет назад. В это время Павел сидел. Его связи с Москвой были оборваны. Те, кто могли бы войти в пай к Митричу, кого Павел знал по прошлым своим делам, тоже отбывали свои сроки. Кое-кто уцелел, но их фамилии не совпадали с начальными буквами или совпадали, но явно не впопад. Это были новые дела, это были дела, ускользнувшие, ускользавшие от следственных органов, от ревизорского досмотра. Это были дела, хищения, которые самолично расследовал Петр Григорьевич Котов. Зачем-то ему это было нужно. Расследовал и принимал участие. Расследование шло изнутри. Понадобилось человеку все до конца понять. Перед собственной кончиной хотя бы. Диагнозы устанавливают врачи, но больной, болевающий, лучше любого врача осознает, что болен, заболевает. Таится, таит от других, от себя, но знает, осознает, но вслушивается в себя, но начинает укладываться, как укладываемся мы в дорогу. Кто приводит в порядок свои архивы, кто шьет себе траурное платье, кто переписывает завещание, кто, как вот Петр Григорьевич Котов, начинает проводить самоличное дознание, чтобы понять всю меру, всю глубину своего падения. Понял Павел Петра Котова, обучила жизнь Павла Шорохова уму-разуму.

Тетрадь была разгадана, но не прочитана. Только Митрич пока был прочитан. Митрич и был этим ключом к прочтению тетради. Петр Котов знал все про всех. Павел не знал почти ничего.

Но тот умер, а Павел был жив. И у него была эта тетрадь, завещанная ему в самую последнюю минуту ее владельцем. Это значило, что Петр Григорьевич Котов хотел, чтобы Павел понял все то, что понял он. Хотел, чтобы тетрадь эта не исчезла. Хотел, чтобы следствие продолжалось. Он предостерег: "Никому..." Да, это была опасная затея. Недаром так рыскал, так выпрашивал Митрич, вызнавая, не осталось ли каких записей после Котова. Чувствовал, догадывался, подметил, что тот пошел по его следу? Да, это была опасная тетрадь. Теперь надо ее прятать. Теперь надо все время оглядываться. Детектив начинался. Не верилось, что он становится участником детектива, начинает жить по законам кинофильмов, над которыми частенько подшучивал. Жизнь - это вам не кино. В жизни все попроще, поскучнее, хотя убивают, и грабят, и воруют. Сажают вот тоже. Но хотя и крал, судили его, хотя и сидел, Павел не мог свести, сравнить свою жизнь с какой-то киношной историей. Змей ловил - это ли не кино? - но это была работа, будничная, изнурительная, скучно-опасная, какое к черту кино. Вернулся, попал сразу в постель к потаскухе, сразу запутали его, толкнули к старому, да еще и с нуля почти. Но и это была жизнь, ничего в ней не было для экрана, для того, чтобы посмотреть, поудивляться, пугаясь, но, впрочем, не прерывая ужина. Это была жизнь. Такая вот, какая задалась. Будничная, грязноватая, незадачливая. Тут не про что было рассказывать, нечего было показывать. Но вот и влип в детектив. Эта тетрадь могла и жизни лишить. Сжечь бы ее, изорвать, разлепить на страницы и сжечь прямо сейчас. Или спустить все в канализацию. А память? А то, что узнал? Это, узнанное, уже потянет и дальше ниточку, разгадываться будут буквы - одна за другой, одна за другой. Тетрадь еще не прочитана, там еще и еще что-то есть... Нет, сейчас ее уничтожать нельзя, пусть договорит свое. Но оглядывайся, Паша, оглядывайся. Серьезные мужички стоят за этими буквами, оборотни. Волки, прикинувшиеся колобками.

Спать захотелось, смертельно захотелось спать. Павел спрятал тетрадь в чемодан, поискал, куда бы спрятать чемодан, не нашел в этой квартирке ни одного потаенного места, затолкал чемодан под тахту. Он не решился лечь на эту все же девичьей белизны постель, прикоснуться к этим, горкой, подушкам. Он сложил два половичка, накрыл их простыней, скинул костюм, завернулся в простыню, падая на жесткое свое ложе, падая в сон.

18

Ему приснился старый сон. Из тех, что повторяются, живут в нас, как читаная-перечитаная книга, которую и снова тянет перечитать. Этот сон он знал наизусть, и он знал, что спит, что все это ему снится. Сон был из детства. Он в нем был школьником. Их школа находилась в желтом доме с колоннами, где когда-то, рассказывали, была гимназия. Узенькая улица, где стояла школа, вытекала на широкое Садовое кольцо, на улицу Чкалова. Узенькой улице было присвоено громкое имя писателя Гайдара. И сон его был из Гайдара, этот писатель мог бы сочинить такой рассказ. Мальчик и девочка идут в школу, они живут в одном доме, только в разных подъездах. Они выходят из подъездов в одно и то же время, они не уславливались, но всегда так получалось. Они идут рядом, переговариваются. Если у нее тяжелый портфель, он отбирает у нее портфель и несет его. Он старше ее на целый год, на целый класс. Ему двенадцать, ей - одиннадцать. Они доходят до угла по улице Чкалова, сворачивают на улицу Гайдара. В том доме, где жил Чкалов, почему и назван этот участок Садового кольца его именем, живет писатель Маршак. Вот сколько знаменитых имен обступают мальчика и девочку, идущих в свою школу. Она спрашивает: "Паш, а ты кем будешь?" Он уверенно отвечает: "Летчиком". Первоклашки, обгоняя их, оглядываются, не понимая, как может взрослый мальчик нести портфель девчонки. Их обгоняют ребята постарше, даже старше, чем они, и тоже оглядываются, смеются чему-то. Кто-то кричит: "Влюбленные идут!" - "Отдай портфель", - говорит девочка. "Не отдам", - говорит Павел. На следующее утро они снова идут рядом, он снова несет ее портфель. Вот и весь сон. А просыпался он в этом сне от

обиды, он никак не мог вспомнить имя той девочки, ну никак не мог - и просыпался.

Но пока они еще шли и разговаривали, Павел знал, что это во сне он идет, выученном наизусть, и потому он другой начал смотреть сон, новый для него. Он ехал на мотоцикле, на могучем том мотоцикле, который стоял в комнате Петра Григорьевича. Он не умел ездить на мотоциклах, но вот ехал, и очень даже смело. Он только не умел тормозить. Дорога впереди петляла, ломалась, как схемы в тетради, до ближайшей заглавной буквы было совсем близко, а там предстояло резко, под углом поворачивать. Павел же не умел тормозить, он знал, что не умеет. А тут как раз они подошли к школе, и он вспомнил, что забыл имя девочки. И мама к нему наклонилась, поднося ко рту на ложке какое-то лекарство. Лицо матери было добрым, заботливым, далеким, как запах того лекарства, которым она поила его в детстве, когда он простывал. Невыносимо было дальше спать, Павел проснулся. Над ним, стоя на коленях, склонилась Лена. Лекарством пахли ее волосы.

- Вы улыбались и всхлипывали, как маленький, - сказала она. - Хороший сон приснился?

Он подумал, припоминая.

- Целых три.

- Почему вы легли на пол?

Он подумал и ничего не ответил.

- Прочли тетрадь? Серьезное что-нибудь?

Он молча кивнул.

- Я не спрашиваю, про что. - Лена поднялась с колен. Жмурясь от спящего утреннего солнца, она задернула занавески. - Устала, - сказала она, прикрывая лицо ладонями. Не хотела, чтобы Павел заметил круги под глазами после бессонной ночи? - Трудная была ночь. Вы тоже поздно легли? Трудное было чтение? Вам теперь надо что-то делать, что-то решать? Вы не отвечайте. Я не спрашиваю, я думаю. Знаете, поживите пока у меня. Я еще несколько дней буду по ночам дежурить. Вот эти дни и живите. Условились? Она прошла мимо Павла, вошла в ванную. Там сразу зашумела вода, потом зашуршал душ. Не вслушиваясь, Павел слышал через утлую дверь, как женщина раздевалась, как встала под душ, как ладонями прерывала водяные наскоки. Павел вскочил, поспешно стал одеваться. Их разделяла всего лишь утлая дверь, даже еще и не плотно прикрывающаяся, но их разделяло ее к нему доверие.

- Вы там оделись? - спросила Лена из-за двери.

- Да.

- Тогда войдите в кухню и прикройте дверь, а я выскочу.

Он вошел в кухню, прикрыл дверь, тоже утлую, да еще и стеклянную почти до пола, лишь укрытую прозрачной занавеской. Павел повернулся к этой занавеске спиной. В глаза ударили, слепя, золотые купола. А за дверью пробежала женщина, слышно касаясь пола босыми ногами.

- Все! - крикнула Лена. - Можете отворять, а то там душно!

Да, крохотная кухня прогрелась, в ней было трудно дышать.

- Сейчас будем пить чай, - сказала Лена, входя на кухню. - Летом по утрам у меня жарковато, оба окна на юг. - Лена успела надеть легкое летнее платье, из старых,



стиранных-перестиранных, какие лишь дома носят. Это платье шло ей. И то, как заколола пучком волосы, торопливо, не поглядев в зеркало, и это шло. Бледное, измученное лицо чуть порозовело от душа. - Теперь ваша очередь принимать душ, - сказала Лена. - Там большое мохнатое полотенце, это для вас. - Она распахнула узкую боковую створку окна, вдвинулась в эту створку, повернувшись к Павлу спиной, как бы отгородилась от него, чтобы он чувствовал себя посвободнее.

Теперь он пустил в ванной воду, разделся, встал под душ, то горячей, то холодной струей выбивая из себя разные там мысли. Потом он брился, причесывался, складывал простыни, поглядывая на закрытую Леной дверь в кухню. Вдруг вспомнил, что надо ведь ему идти в павильон, что там ждет его Вера, там ждет его работа. Вспомнилось, как о враждебном, понял, что не пойдет. Встав на колени, Павел извлек из-под тахты свой чемоданчик, открыл, достал тетрадь.

- Чай на столе! - крикнула Лена.

С тетрадью в руке Павел пошел на кухню. Он сел к столу, на то же место, где вчера сидел, когда читал, разколдовал тетрадь. Парок шел над чашкой крепкого чая, над очень большой чашкой, себе Лена поставила маленькую. Свежий батон ждал Павла, чтобы тот его нарезал, нож для этого был положен ему под руку. Была открыта масленка, была открыта банка с медом, горкой высились конфеты с верблюдами на обертке.

- Попью чая и лягу спать, - сказала Лена. - А вы тут читайте, милости прошу. Надумаете уходить, просто прикройте дверь. - Она порылась в сумочке, которая лежала на холодильнике. - Вот вам ключи, если вернетесь, когда я уже уйду на дежурство. Этот - от двери, этот - от общей двери в коридор. Код не забыли?

- Двести пятьдесят семь, - сказал Павел. Он взял ключи, которые ему протягивала Лена. - Я все же не стесню вас?

- Стесню - это как понять? Нарезайте-ка лучше хлеб, он еще горячий, потрогайте. Нет, я только буду рада, если вы у меня поживете. Не обидитесь, если я сейчас завалюсь спать?

- Нет. - Павел стал нарезать хлеб, принюхиваясь к этому из детства запаху, из счастья запаху, когда пробегал в детстве мимо булочной.

- Намазывайте маслом и медом, ничего нет вкусней, - сказала Лена. Губы у нее стали перламутровыми от меда, щеки порозовели от горячего чая, синие подглазья истаяли.

- Спасибо, Лена, не знаю, как вас благодарить, - сказал Павел. - Я, правда, могу у сестры в Дмитрове пока обосноваться, но это все же далековато. А ведь надо на работу устраиваться.

- Решили там не работать, в павильоне том?! - не таясь, просияла Лена. Она мимолетно тронула, как горячий утюг трогают, тетрадь. - Это из-за нее? Я догадалась, что Петр Григорьевич желал вам добра, отдавая тетрадь.

- Добра? - Павлу не надо было дотрагиваться до тетради, он знал, что она раскалена покруче любого утюга. - Не так все просто, Лена, не так, не так все просто. Вот еще сложность, где мне эту тетрадь прятать? Не возить же ее каждый день в камеру хранения?

- А у меня и оставляйте, - сказала Лена.

- Нет, Лена, нет.

- Думаете, я загляну?

- Думаю, что эта тетрадь может когда-нибудь взорвать ваш дом.

- Это так серьезно? Павел, тогда я с вами. Как же вы один? Грех вас сейчас оставлять одного. Да, да, у меня и станем ее прятать. Никто ведь не знает, что вы у меня поселились. Надо, чтобы и не узнали. Вот и все. Конспиративная ваша квартира. Подходя, оглядывайтесь, нет ли хвоста.

- Ну, ну, - усмехнулся Павел. - Буду оглядываться. Откуда вы такая? Почему вы такая?

- Какая?.. Ладно, не говорите мне добрых слов. - Лена поднялась. - Я не очень верю словам, редко, когда им верю. Посмотрим, какой вы. Как себя поведете. Посуду я потом сама помою. К телефону не подходите, а звонить звоните. Меня вы не разбудите, я сейчас свалюсь. - И ушла, взмахнув рукой на прощание, став вдруг загадочной, куда взрослее своих лет умом и опытом жизни.

Павел распахнул тетрадь. Ему надо было проверить еще одну догадку, которая тлела в нем, а сейчас вспыхнула. Эта заглавная буква "Р.", начинавшая все схемы-махинации, когда товаром была рыба, на какой-то странице вдруг исчезла. На какой? Почему? Павел торопливо листал тетрадь. До одиннадцатой страницы буква стояла на своем месте в схемах, на двенадцатой и дальше она исчезла. Павел вернулся к одиннадцатой странице, всмотрелся. Так и есть, возле буквы "Р.", где она была на схеме в последний раз, совсем не приметный стоял крестик. Он был так мал, что казался еще одной точкой, случайно, по небрежности поставленной Котовым. Но Котов в этой тетради не допускал небрежностей, не такая тут велась работа, чтобы небрежничать. Это была не точка, а крохотный крестик, извещающий, что с "Р." что-то случилось, что он либо умер, либо сел. Павел поглядел на дату. Она отбегала на два года назад от сегодняшнего дня, точнее, на два года и пятнадцать дней. А не тогда ли, не два года тому назад начался в Москве крупный судебный процесс над кое-кем? Этот процесс долго шел, но он начался после того, как осудили Павла, он знал о нем по слухам, которые просачивались, не могли не просочиться и за зарешеченные окна и двери. Павел даже знал фамилию одного из осужденных по тому процессу, фамилию крупного "спеца" по рыбным делам, начинающуюся на "Р." Так это он? Так вот куда повела ниточка, вот к каким делам? Петр Григорьевич Котов продолжал расследование, самоличное, и не с той стороны, где следователи, а с той стороны, где подследственные, по делу, которому не было равных за многие годы по размаху, по дерзости, по наглости. Заглавные буквы эти в тетради, они еще были на свободе. Эти люди действовали по разным направлениям, но их дела смыкались, переплетались, повязывались. Эти люди, если верить слухам про процесс, работали потише, довольствовались меньшим, но действовали, были на свободе, их не доискались. А Петр Григорьевич доискался. Павел стал смотреть, нет ли еще где этих знаков-крестиков. Нашлись. Еще в одной схеме, еще в одной, еще в одной. Да, схемы начинали прерываться, но не исчезали, заменялись лишь буквы, работа шла. По крайней мере, до недавнего времени: тетрадь обрывалась на дате, когда, видимо, Петр Григорьевич окончательно слег, на конце марта этого года. Работа шла, раз Митрич был на свободе. Он был на свободе, и он чувствовал себя совсем неплохо. Работа шла. А вот свою работу Петр Котов завершить не успел. Но куда он шел в этой работе? Для чего начал свое следствие? Из любопытства, может быть? Чтобы потом прижать приятелей? Если бы так, он бы не стал отдавать перед смертью тетрадь Павлу, он бы ее, глядишь, продал задорого тому же Митричу. Нет, Петр Котов доискивался правды, которую и сам не знал, начиная эту тетрадь, знал, что-то все же знал, конечно, но не до конца. Многое знал, но всего не знал. Узнал, умирая. Узнал и отдал тетрадь ему, Павлу Шорохову. Зачем? Еще не все было прочитано в этой тетради, еще предстояло ее читать и читать. И предстояло кое-что и самому довыяснить. Слухи тут не годились, нужна была точность. Кого спросить? С кем бы можно было поговорить, не рассказывая о тетради? Боже упаси! Многое мог знать Костик Бугров, человек чуждый, враждебный этим заглавным буквам, но из того же мира, наверняка осведомленный. Костик годился. Да, годился, но Павел мог подвести его, даже не рассказывая о тетради подвести, только своими расспросами подвести, тем, что побывает у него. Вдруг да кто дознается из заглавных букв? Вдруг да проговорится сам Костик, не придав

значения разговору? Павел мог подвести Костика. Павел, владея этой тетрадью, прочтя ее, а он еще ее прочитает, становился сам по себе опасностью для других. Сама его осведомленность делала его опасным для других.

Костик отпадал. У Костика росли две девочки-двойняшки, он честно жил, всегда так жил, преступно было втягивать его в эту зону опасности, в которую вступал - вступил! - Павел. Когда натаскивают человека на змеелова, его сперва натаскивают на змеях, у которых сцежен яд. Их укус не смертелен, но их укус тоже не подарок. А эти, заглавные эти буквы, они свой яд еще не отдали. Эх, хотел ведь он месяцем позже рвануть в Москву! Друзья уговаривали остаться, еще работы было навалом. Поспешил! Нет, не поспешил, это судьба. А в Москву он рвался и месяцем раньше, и двумя, и тремя. Не поспешил, а промедлил - так будет точнее. От судьбы же никому увернуться еще не удавалось.

19

Тимка вроде бы узнал его, благожелательно помахивал обрубком, сдержанно, но все же тыкался холодным носом в руку. Павел шел вместе с сыном и его эрделем по улице Аркадия Гайдара. Они подходили к желтой школе с белыми колоннами.

- А я и не подумал, что ты учишься в той же школе, где и я учился, сказал Павел.

- Где же еще?

Сына Павел вызвал по телефону. Из окна кухни в квартире Лены виден был дом, краешек крыши того дома на улице Чкалова, где Павел родился и где теперь жил его сын. Совсем рядом был сын. Захотелось его повидать, рванулось сердце. Павел позвонил, подойдя с аппаратом в руке к окну. Там, под той крышей, в квартире на седьмом этаже, сейчас подходит к телефону мальчик, сейчас он скажет: "Слушаю?" Сергей так и сказал.

- Это я, твой отец, - сказал Павел. - Ты выйди, погуляй с Тимкой. К каштанам выходи. Я через пять минут там буду. - И повесил трубку. И кинулся к лифту, прикидывая, что, пожалуй, за пять минут не поспеет. Но если бегом, если вскочить в троллейбус, который как раз подкатит, проехать на нем всего лишь две остановки, то успеть можно. Павел перебежал улицу, погнался за троллейбусом, догнал. Потом, когда троллейбус остановился у нового тут здания, у кинотеатра "Новороссийск", Павел выскочил, перебежал узкую улицу Чернышевского, нырнул в подворотню, вбежал в чужой двор, из которого было ближе всего до родного двора, до пятачка с травой под каштанами. Успел. Сережа еще только подходил с Тимкой.

И вот они пошли, пошли, помалкивая, лишь поглядывая друг на друга, и почему-то очутились на улице Аркадия Гайдара. Тимка так повел? Тот, прежний Тимка, тоже любил приходить сюда, к густой траве палисадника на углу у дома, где жил Чкалов, где жил Маршак. Так тогда и шутили: "Пошли к Маршаку". А дальше была их школа. И теперь повел Сережа. Он шел к школе. Лето, каникулы, а его потянуло к школе. Когда они поравнялись с высоко взбегающими ступенями, ведущими к колоннам и к входу, Сергей сказал, не глядя на отца, невзначай будто сказал, просто подумалось вслух:

- Каникулы, а все равно в школе кто-нибудь да есть.

- Наверняка, - согласился Павел. - Присматривают за ремонтом.

- Отец... - Он назвал его отцом в первый раз! - Ты не хочешь туда заглянуть? Я бы постоял тут с Тимкой, мы бы подождали.

- Туда? - переспросил Павел.

- Ты там учился, тебя там помнят. У меня раньше спрашивали про тебя, когда я в первый класс поступил. Потом перестали.

- Хорошо, ты прав, я пойду.

Ступени помнились истертыми, пологими, но теперь их заменили на новые, они показались Павлу крутыми. Да он и не спешил, переступал со ступени на ступень, мечтая, что никого в школе не встретит. Горько было ему, горько, он понял сына, он понял, что Сергею нужно, чтобы в школе увидели его отца. Горько было. А с чем явился этот отец, в свою собственную школу явился? Откуда? Меньше всего он думал, думая о Москве, о своем возвращении, что сразу же, на четвертый там, на пятый день явится в школу. Взрослые люди приходят в свои школы, когда им везет в жизни, ну, хотя бы, когда все в порядке, а не когда они отбыли срок заключения, когда они на нуле. Но мальчику это нужно, и Павел шел, одолевал ступени.

В просторном холле, где всегда были фотовыставки, где красовалась доска отличников, героев многих выпусков, где висели портреты самых больших удачников, знаменитостей, некогда учившихся здесь, к радости Павла, стены были голыми, их подготовили для ремонта. Эти голые стены ободрили Павла. Школа должна быть пустой, как эти стены. Гулкая пустота встретила Павла, когда он пересек холл, подошел к дверям учительской. Было бы нечестно не заглянуть в учительскую, а просто вернуться, сказав сыну, что в школе никого нет. Павел отворил дверь, встал на пороге. В учительской было полно учителей, какое-то они там надумали собрание летом. Почти все эти люди, к счастью, были незнакомы Павлу. Они воззрились на него: что за человек, что за помеха? Он виновато и облегченно поклонился, собираясь притворить дверь. Но тут его окликнули, назвали:

- Павел Шорохов?!

И еще кто-то узнал его:

- Наш бывший ученик?!

Старенькая седая женщина и сутулый старик поднялись, пошли к нему.

Совсем незнакомый человек во главе стола тоже восторженно, услышав его имя, спросил, заинтересовавшись:

- Не отец ли Сережи Шорохова?

Павел переступил порог, вступил в учительскую. В самую пору бы спросить: "Вы меня вызывали?"

Старую учительницу он узнал, она преподавала историю. Старого учителя он узнал, тот преподавал физику. Они подошли к нему, они были рады ему, разглядывали, довольные его внешностью.

- Узнал, узнал! - радовался старик. - Это был мой первый выпуск. Мы с вами тогда помоложе были, а, Шорохов?

- А я бы не узнала, если бы не Сережа. Отца узнаешь по сыну, таков уж способ узнавания у нас, у учителей. Я его классная руководительница. Вернулись? Все позади? Я очень рада, просто очень рада. Поздравляю вас. Сереже не доставало отца, знаете ли. Я очень рада. Я жду вас осенью, нам надо о многом поговорить.

Подошел директор или завуч, тот, кто вел собрание, поздоровался, уважительно взглянув на сильную руку Павла. Это был спортивного склада человек.

- Рад, что зашли, - сказал он. - Сейчас у нас собрание, загляните как-нибудь на неделе. - Он взял Павла под руку, вывел в коридор. Павел оглянулся, прощаясь. Знакомые старики и те учителя, которых он не знал, кивали ему, как своему.

- Мальчик очень замкнутый у вас, - сказал Павлу директор или завуч уже в коридоре. - Я все знаю, не раз беседовал с вашей бывшей женой. Прошу вас, обдумайте свою роль в судьбе сына.

Они снова обменялись рукопожатием, крепким, равным по силе.

Сын ждал у ступенек, по которым легко было сбегать. Правильно сделал, что побывал в школе.

- Учительская была полна народу! - возбужденно сообщил Павел сыну. Повезло! И с твоей классной руководительницей поговорил, и с физиком. И с директором. Спортивный такой мужик, с меня ростом. Но, может, он завуч?

- Они говорили обо мне? - спросил мальчик. - Ругали?

- Нет, Сережа, нет.

- Тогда о чем они говорили?

- Обрадовались, просто обрадовались, что я зашел. Старики даже узнали. Твоя классная сказала, что узнала во мне тебя. Вот так! Молодец, что велел мне зайти в школу! Вот устраюсь на работу, стану бывать здесь на родительских собраниях. Не возражаешь?

- Ты кем собираешься устраиваться? - спросил сын.

Счастливая минута прошла.

Они повернули назад, теперь Тимка их опять повел.

- Мать говорила вчера, что ты будешь в палатке торговать арбузами, а Валентин сказал, что ты за старое принялся.

- Торопятся, торопятся они с новостями, - сказал Павел. - Я буду тебе звонить. Когда лучше всего тебе звонить?

- Когда я дома, к телефону подхожу я. Мать не велит, чтобы Валентин первый брал трубку, а он не велит, чтобы она первой брала.

- Я буду тебе звонить по утрам.

- Хорошо.

- А теперь мне надо бежать. Мой троллейбус подходит.

- Беги, папа.

20

Павел так и сделал, он побежал через Садовое кольцо, погнался за троллейбусом, вскочил в него, увидел сына с собакой на другой стороне, увидел свой бывший дом неподалеку, увидел

себя глазами сына, как бежал через улицу, жалким себе показался в глазах сына. И в нем вспыхнула ярость. Он ехал к Митричу, к этому Колобку, к этой заглавной букве "М". Надо было поговорить!

Митрич возился со своими аквариумами. Крошечным садком он остороженько вылавливал крошечных рыбешек, любовно недолго рассматривал, вновь опускал в воду. Осторожный, заботливый, чудаковатый, прежде всего чудаковатый.

- Явился?! - увидел он Павла. - А Вера твоя у меня в кабинете слезьми изошла. Товар получен, а напарника нет. Марш, сударь мой, дорогуша ты моя, на работу.

- Погоди командовать. У меня к тебе два-три вопросика.

- Спрашивай. Но не здесь же, не в торговом зале. - Митрич быстро засеменял к проходу между прилавками, округло маня рукой за собой Павла.

Они вошли в кабинетик с аквариумами, где в углу притулилась безутешная Вера. Увидев Павла, она вскочила, бросилась было к нему. Он отстранился. Да она и сама поняла, что об него сейчас можно обжечься, сама отстранилась.

- Миленький, что с тобой?

- Веруша, ты выйди, нам надо потолковать, - округло повел рукой, указывая на дверь, Митрич. Вера поспешно вышла, кося испуганные глаза на Павла. - Ну? - обернулся к Павлу Митрич. - Я так думаю, обиделся ты на меня вчера. Прости, коли так. Виноват, подвыпил. Признаю, виноват. Нельзя мне пить, не в моем это характере.

- Скажи, Митрич, как ты получаешь товар?

- Дефицит этот, что ли? Мир не без добрых людей.

- Не дефицит, а левый товар, просто товар, но левый?

- Ну и вопрос!.. - Митрич задумался, разглядывая своих рыбок. - Это, что же, наш покойничек успел тебе что-то перед смертью шепнуть?

- Я сам себе шепнул. Не забудь, я был директором гастронома.

- Это мы помним. Восемь лет за деятельность свою получил. И это мы помним. Между прочим, а у меня ни одной судимости.

- В том-то и дело, в том-то и дело. Я так думаю, других подставляешь.

- Он шепнул тебе? Успел! А дефицит я на дефицит меняю. Вот пригнали сегодня в твой павильон пятнадцать ящиков абрикосов, а с меня за это попросят пяток баночек икорки. Я у них за деньги, они у меня за деньги. Весь навар, что редок товар. Шел бы, торговал бы, твой переулочек, наверное, абрикосовым духом пропах. Покупатель слизнет за минуту. Делись с Веруней, что ухватите, мне от вас ничего не нужно.

Приотворилась дверь, заглянула Вера, услышав свое имя, жалобно позвала:

- Пашенька, пойдём!

- Притвори дверь, - сухо сказал Митрич. - Гляжу, мудрит твой Пашенька. - Он прикрикнул: - И не подслушивай! Иди к товару, не гноить же его! Ну, еще какие будут вопросы?

- Вопрос задан.

- Так и ответ выдан.

- Дефицит - это прикрытие, Борис Дмитриевич. Суть - в левом товаре, в неучтенном.

- Я так тебе скажу, Павел. - Митрич близко подошел, доверительно заглянул Павлу в глаза, устойчиво удерживая зрачки. - Когда человек болен, когда помирать пришла пора, тогда он неведь что может заподозрить. Мнительность эта от болезни. Но ведь ты не болен, ты еще молодой, сильный, тебе еще жить. Зачем же тебе всякая мнительность? Работай, получай прибыль, живи.

- А потом опять посадят, а ты опять без судимости. Я позабыл, но вспомню, что ты там делал у меня в гастрономе. Помню, ты там у нас крутился, закатывался к нам. Я тогда не обращал на тебя внимания. Жаль, что не обращал.

- Тут ты прав, Паша. На человека, какой ни на есть, всегда надо обращать внимание. Да, делаю вывод: нашептал тебе что-то наш Петр Григорьевич. Здоров был - не болтал. Это его болезнь расслабила. Он давно стал мне подозрителен. Как начал болеть, худеть. Нельзя с больными людьми дела делать. Что ж, увольняешься или еще подумашь?

- Увольняюсь.

- А куда пойдешь? С такими вопросами тебя нигде у нас не примут.

- Вы да ваши - это еще не вся Москва.

- Это так, вот тут ты прав. Желаю удачи. И слезно прошу, ради тебя прошу: не бреди ты душу чужими вопросами. Они умерли, мы их вчера вместе хоронили. Умер человек, с ним всё и ушло. А тебе жить.

Павел шагнул за порог, прихлопнул дверь.

Во дворе его ждала Вера. Она быстро подошла к нему. Она успела подсушить глаза, укрыть лицо молодым гримом.

- Черт с ними, с абрикосами, Паша, пошли ко мне. - Но пока она произносила эти слова, зазывные и зазывным голосом, тем голосом, который если и лгал, то лгал лишь отчасти, была в нем и искренняя нота, женская, ждущая, пока она подходила к нему, распрямившаяся, напрягшаяся, она поняла, что он не пойдет с ней, что его не удержать. Вера остановилась. Но надежда ее еще не покинула. Да и нельзя было ей так позорно отступить.

- Ты остынь, ты поостынь, Паша, после поговорим, - сказала она и вот теперь повернулась и быстро пошла от него, гордо вскинув голову.

Она - в одну сторону, он - в другую. И опять Павел припустил бегом, хотя не было на этой улице троллейбуса, за которым нужно было гнаться. Гон этот в нем жил. Он знал, куда путь держит, и он спешил. Вот только сейчас подумал о человеке и сразу - бегом к нему.

21

Этот человек был когда-то главным бухгалтером в том гастрономе, где директорствовал Павел. Прекрасный был бухгалтер, но его свалил инфаркт. Поправившись, он назад на работу не вернулся. Этот человек умел считать и умел прикидывать. Он сказал тогда Павлу: "Прикинул, если после инфаркта вернусь в гастроном, то меня хватит года на два, а если

уйду на пенсию, лет еще с десяток протяну. Итог в пользу пенсии". И ушел. Стал возиться на своем дачном участке, стал розы разводить. Не стеснялся, продавал их. У него даже место постоянное было, где он стоял с цветами, - возле Курского вокзала, у стены по левую руку, когда выходишь на площадь с перрона пригородных поездов Горьковской ветки. И он был такой человек, такой размеренности и постоянности, что наверняка, если еще жив, все там же и стоит со своим ведром роз. Дважды за эти дни побывал Павел совсем рядом, улица Чкалова была рядом, но про Анатолия Семеновича Голубкова не вспомнил. А вот сейчас вспомнил.

Снова на троллейбусе по Садовому кольцу, мимо дома, где родился, где теперь жил сын, мимо места, на котором с час назад расстался с сыном. Так получалось, что он все время кружил по родным местам, не было роздыху его памяти. Даже когда стоял у окон квартиры Лены, и тогда не было роздыху его памяти.

Да, смотри-ка, Анатолий Семенович стоял на своем месте! Новшеством было, что он теперь стоял за легким сборным прилавком, в ярком цветочном ряду. Высокий, костистый, с седыми висками и багровой от загара яйцевидной лысиной. Новшеством было, что он теперь обряжен был в белый передник. Это делало его издали похожим на дворника, зачем-то забравшегося в цветник.

Павел, пока пересекал вокзальную площадь, пока разглядывал Анатолия Семеновича, все допытывался у себя: а зачем он сюда рванул, вдруг забыв толкнувшую его мысль. Старик давно отошел от дел, был смешон в своем переднике, предстоял тягостный, никчемный разговор. Чуть было не повернул назад, но и поворачивать теперь было глупо.

- Здравствуйте, Анатолий Семенович, рад, что все у вас, как было, по-здуманному, - сказал Павел, подходя к старику.

Тот ничуть не удивился.

- Здравствуйте, Павел Сергеевич. Это как же вам удалось три года скостить?

- Не три, а четыре. Больше года уже на свободе.

- Удивительное дело. Впрочем, узнаю вас. Напор! Целеустремленность! Вкалывали сверх всяких сил? Теперь ведь досрочные освобождения - редкость.

- Вкалывал сверх всяких сил.

К их разговору стали прислушиваться два кавказских человека, торговавших цветами рядом с Голубковым. И они уже сочувствовали Павлу, восхищались им, цокая языками.

- Есть разговор, - сказал Павел. - Не отойти ли нам в сторонку?

- Так я же при розах. Увянут, потеряют конкурентоспособность с кавказскими. Подмосковный цветок хорош своей свежестью, тем, что в чемоданах не задыхался. Только два часа назад срезал. Понюхайте! А эти, - старик покосился на товар конкурентов. - Принюхайтесь, от них бензином пахнет, нафталином, кислятиной. Это от роз-то!

- Я покупаю у вас все розы, - сказал Павел.

- Павел Сергеевич, тут на сорок рублей. Уступил бы по дружбе, но не имею права, подведу коллег, ибо такова на сегодня цена рынка.

- Покупаю, покупаю. - Павел достал четыре десятки, вручил их старику. Пошли, Анатолий Семенович, прогуляемся. Могу вас, если хотите, к поезду проводить.



- Благодарствую, но мне еще надо кое-что прикупить в Москве. Так, по мелочи. Погуляем. Если не возражаете, я пока цветы из ведерка вынимать не стану. Начнут увядать без воды. Вы не беспокойтесь, я ведерко сам понесу. До завтра, кунаки! Желаю и вам такого же клиента.

Кунаки в ответ снова зацокали языками.

Павел огляделся: куда же идти? Садовое гудело машинным надсадным гудом. Площадь перед вокзалом была заставлена такси, видимо, ожидался поезд с юга.

- Пойдем поплутаем по переулочкам. Выйдем к улице Казакова, там тихо.

- Без тишины какой же разговор, - согласился старик. Он снял передник, аккуратно сложил его. - А о чем пойдет речь?

Павел не отозвался, он шел на шаг впереди, прокладывая дорогу через привокзальную толпу. Он вспоминал, сколько же дней назад он тоже шел в подобной толпе возле Казанского вокзала? Совсем недавно шел, а показалось, что очень давно. А ведь в таком гоне жить нельзя, когда день - за месяц, сердце лопнет.

- Забыли про свой инфаркт на цветочках-то? - спросил Павел, когда они выбрались из толпы, когда вступили в кривой и грязный привокзальный переулок, который, Павел помнил, был самым коротким проходом к улице Казакова. Да, вон она, эта улица с облупившимся громадным шаром, изображающим глобус, перед входом в институт землеустроителей.

- Не забыл, но помню с благодарностью.

- С благодарностью?

- Так, дорогой вы мой Павел Сергеевич, если бы не этот инфаркт, я бы по малодушию и еще бы с годик с вами проработал, а тогда бы вместе с вами и на скамеечку подсудимых уселся. Такой баланс. Я восхищался вами, не скрою. Красиво работали, но... безоглядно. Есть такой недуг в начальственной среде: вседозволенность. Вы тогда этим недугом как раз и болели. Перед самым инфарктом своим я только по второй вашей резолюции бумажки и визировал. Так дальше работать было невозможно. Но тут повезло: инфаркт свалил. Он и спас.

- Помню, я тогда в автомобильную катастрофу угодил, - сказал Павел. Отделался ушибами. Если следовать вашей теории, то было бы лучше, если бы искалечился. Тоже спасся бы?

- Помню этот случай. Нет, вы тогда уже заступили черту. Подлечили бы и осудили бы.

- А где эта черта проходила, Анатолий Семенович?

- Вот и выбрали мы на тихую улицу Казакова.

- Так как же с чертой?

- Трудноопределимое понятие. Для этого вопроса и отыскиали меня?

- Пожалуй.

- Черты, собственно говоря, такой нет. Особенно в торговле. Нарушений не избежать, каким бы умным ты ни был. Или осторожным, если хотите, трусливым. Все равно нарушения будут. Много бестолковщины в самом своде правил, установлений, предписаний. Крестным знаменем себя осенял, подписывая иную бумажку. Но что было делать? Торговля - живое существо, та самая корова, которую надо хлебушком прикармливать перед дойкой. Я это понимал. Но... я себе не брал.

- Брали все ж таки, наверное.

- По пустякам, может быть, не отрицаю. Соблазняясь какой-нибудь рыбкой, колбаской. Заметьте, всегда платил. Самолично шел к кассе и платил. А вообще-то слишком много у нас запретов в торговле. Эти запреты и плодят махинаторов, как это ни парадоксально. Замечали, как по весне ручьи прорывают плотину? Обходят, подныривают. Я бы упразднил сто параграфов из ста двадцати, я бы ввел - умная штука - бригадный подряд и в торговле. Коллектив магазина отчитывается выручкой, планом, а внутри себя - друг перед другом. Есть опасность, что в одном магазине разбогатеют, а в другом прогорят? Разбогатеют, но за хорошую работу. Прогорят, но не проворуются. Психология может пострадать, частнособственнические инстинкты расцветут? Простите, но уже расцвели. И особнячки возводят, и мебель красного дерева скупают, и автомобилями чванятся. Моя дочь, к примеру, на моем "Запорожце" стыдится в гости ездить. Мыльница, говорит. Но ведь колеса-то вращаются, свою функцию выполняют. Стыдится она, что я торгую цветами. Слишком мелкий, видимо, бизнес. Но я не краду. Поглядите, во что руки превратились. Гордиться бы ей надо было отцовскими руками. Замечу, деньги, которые я выручаю за розы, у меня берет. Ваши сорок рубликов к ней перекачуют, к дочке.

- Вернемся к моей черте, - сказал Павел.

- Говорю, нет черты. Скорее, это зона опасности, минное поле. Шаг сделали - обошлось, второй ступили - проехало. Третий, четвертый. Да минное ли это поле? И зашагали? И тут-то и подорвались.

- Но почему, почему я полез на это поле?

- Меня спрашиваете? Верно, почему?

- Убей, не пойму, когда и с чего началось.

- Верю. Так я же говорю: вседозволенность - болезнь, а болезнь подкрадывается к нам. Ваш случай не из сложных, Павел Сергеевич. Молодой, обаятельный, общительный. Даже фамилия у вас какая-то приятная - Шорохов.

- Ваша и того приятнее.

- А внешность? Повезло мне со внешностью. А вы везде зван, всем приятен. Наши женщины, помню, столбенели, когда вы проходили мимо. Проносились. Пролетали. Вас несло тогда. К благоразумным советам не прислушивались. Собутыльников приравняли к друзьям.

- Анатолий Семенович, вы помните Петра Григорьевича Котова?

- Как же, как же. Я с ним даже работал вместе. Но он из кочевников, а я за тридцать лет лишь два магазина поменял. Интересный человек, сильный человек. На чем-то он сломался, в молодые еще годы. Он ведь инженер по образованию. Сломался на чем-то, но на чем, не знаю. Замкнутый человек. Он тоже по минному полю ходит, но в отличие от вас, Павел Сергеевич, с миноискателем. С ним бы я инфаркт не нажил.

- Он вчера на другое поле попал, на Долгопрудное кладбище.

- Помер?! Котов?! Могучий же был человек! Инфаркт?

- Саркома.

- А, изъел себя! Так, так. А то еще на мотоцикле гонял, будто смерть ему была нужна. Так, так. А я вот жив, цветочки развожу.

- Анатолий Семенович, а помните вы Бориса Дмитриевича Миронова, Митрича, Колобка?
- Тоже помер?! - не сумел скрыть радости старик. - Туда ему и дорога!
- Нет, не помер. Напротив, процветает, бодр и весел.
- Тогда - назад, назад, беру свои слова назад. Вы их и не слышали, сорвались, отвык с людьми беседы вести, с цветами-то я говорю, что вздумается. Да, серьезный мужчина. Колобком звали. Помню, помню.
- Он там и у нас в гастрономе крутился. Зачем?
- Ну-у-у, Павел Сергеевич, дела давно минувших дней. А вы его самого спросите.
- Спрашивал.
- Вы от него ко мне?
- От него.
- Все же не дают, значит, вам покою дела давно минувших дней? Суд же был, все там выяснилось.
- Не все.
- Правда ваша, не все. Я на суде не был, реабилитировался тогда по поводу инфаркта, даже и свидетелем меня не стали вызывать. Но я за процессом следил, подробности мне докладывали. Как водится, это уж как водится, когда торгашей судят, весь клубок суду не распутать.
- А если мы, сами торгаши, захотели бы распутать?
- Тогда вы бравадой занимались. Вседозволенность, недуг тот, еще сидел в вас.
- Вылечился я от него.
- Вижу. Полагаю, что вылечились или, еще точнее, вылечиваетесь, проходите реабилитацию. Нет, Павел Сергеевич, а вот про Митрича я вам никакой информации дать не смогу. Колобок, одним словом. Да и что я знаю? Цветовод - не счетовод. Устроились? Работаете?
- Устраиваюсь.
- На минное поле теперь - ни-ни-ни?
- Кабы знать, где тебя мины ждут.
- А все же, все же, если и от вседозволенности излечились, то мин на пути будет у вас поменьше.
- Далось вам это слово. Какое-то философское понятие.
- Заметил, все садовники в философию ударяются. Или прожектывают, как я, к примеру, прожектыванием занялся по поводу переустройства нашей торговли. Цветы молчат, кивают, одобряют. - Анатолий Семенович протянул ведро с розами Павлу. - А ведро я вам дарю как оптовому покупателю. И еще в придачу совет... Павел Сергеевич, да ну его, Митрича! - Старик отдал Павлу ведро, поклонился ему. - Понадобятся цветочки - буду рад услужить. - Он повернулся, накренил свое костистое тело, заспешил куда-то по своим делам.

А Павел с ведром роз в руке побрел прямо, свернул влево, еще разок свернул и вышел - тут все места были хожены-перехожены - к дому парусом, где жила Лена, где было его временное пристанище. Лучше было не придумать место для этих роз, чем комната, где спала сейчас Лена. Она проснется, а на полу в ведре розы. И она улыбнется им, обрадуется, просветлеет ее строгое, в печали лицо.

Войдя в подъезд дома, Павел уверенно нажал на три кнопки - на двойку, пятерку и семерку. Он и дверь в коридор отомкнул уверенно, смело отпер дверь квартиры. Эту уверенность, смелость внушили ему розы. Мысль подарить целое ведро роз Лене была счастливой мыслью. Не таясь он вошел в ее комнату. Лена спала, откинув простыню: ей было жарко. Павел увидел ее нагой, прекрасной, как прекрасна нагота молодой женщины, чуть только изведавшей любви. Немыслимо было догадаться, когда Лена была в одежде, что так пленительны ее бедра, что такая совершенная у нее грудь, грудь женщины, но и девушки.

Дивясь самому себе, что не припал к ней, дивясь своей вдруг робости, нет, еще чему-то в себе, Павел, оглядываясь, вышел из комнаты. Он осторожно замкнул дверь, теперь он боялся, что Лена услышит его, тихо прошел по коридору, осторожно замкнул и другую дверь. У лифта, пока гудел к нему лифт, Павел вслушался, как колотится сердце. Он шагнул было к двери, но откачнулся, отбросив себя назад, в отворившийся лифт.

22

В просторном холле министерства, когда Павел, воспользовавшись своей пухлой записной книжкой, позвонил по внутреннему телефону одному из тех, с кем собирался побеседовать глаза в глаза, все пять лет вынашивая в себе миг этой встречи, по телефону с ним заговорила женщина.

- Да, был такой, но сплыл, - сказала Павлу женщина, и мстительно как-то прозвучал ее голос.
- Он что, в командировке, в плавании? - спросил Павел. Это ведь было плавающее министерство.
- В плавание уходят, а не сплывают, - сказала женщина. - Вы кто, моряк?
- Сухопутный. Где мне его добыть?
- Откуда мне знать? Да и знать не хочу! Сплыл!
- Вы не огорчайтесь, он всегда был таким, - сказал Павел.
- Я огорчаюсь? Каким - таким?
- Сплывающим. Хотите, я ему от вашего имени морду набью? Скажите только, где его найти.
- А это идея! Если верить слухам, он пасется в магазине "Консервы" на ВДНХ. И скажите ему, что его презирают!
- От кого привет?
- Он поймет! - Женщина бросила, нет, швырнула трубку.
- Неплохой способ узнавать адрес человека, - сказал Павлу стоявший в очереди к телефону невысокий морячок в невероятно заломленной фуражке с потускневшим золотым "крабом". -

Действительно пойдете сейчас кому-то бить морду?

- Не исключено, - сказал Павел, листая записную книжку. В этом министерстве и еще были люди, кому бы он мог позвонить. Павел нашел нужный номер, но телефон уже был занят, в трубку баритонил тот самый морячок в фуражке, заломленной именно так, как смеет это сделать очень бывалый, исходивший все моря и океаны человек морской приписки.

Павел огляделся: и другие телефоны были заняты, шел разговор, так сказать, по всей флотилии. Занятое это было место. Отсюда, преодолев препоны, свершив вот эти телефонные разговоры, выправив затем нужные документы, люди уходили в плавание, на тысячи миль, на долгие месяцы. Тут стеночки подпирали капитаны и штурманы, специалисты всех матросских статей, которых судьба лишь случайно занесла так далеко на сушу, так далеко от их портов приписки. Может быть, они очутились в Москве, чтобы поставить крест на своем морском бродяжничестве, чтобы пришвартоваться к какой-нибудь женщине, к москвичке, пожить попробовать в столице, но вот и снова они в бюро пропусков, откуда прямой путь к морям и океанам. Обрекая себя на тяжкую работу, в гробу бы ее не видать. На месяцы, месяцы ввергая себя в соленую купель. И так - неделями, месяцами. Шторм, дождь, рыба въевшаяся вонь, придира-капитан, трудный характер у команды - бросить бы все это к чертям собачьим. Но нет, ее нет - жизни без моря. Это единственная приемлемая жизнь на земле. Ну ее, эту Москву, этих баб с московской пропиской. Пользуйтесь, кому приспичило, а мы - в море.

Про это и шел тут разговор по внутренним телефонам. Моряки, рыбаки, случайно заскочившие в Москву, рвались в море, спешили, душа рвалась. Выйдут в море - и потянет на сушу.

Освободился телефон, бывалый морячок, счастливо улыбаясь, враскачку побежал к окошку за пропуском.

- Оформляй, барышня! Сейчас получу бумаги, вечерним рейсом во Владик! А там!.. - Своей радостью он делился со всеми, кто был в бюро пропусков. И все, кто был сейчас тут, все, но не Павел, радовались с ним и завидовали ему. А у Павла были другие дела, другие заботы. Ему тут трудно стало, он был тут чужим. Раздумав звонить, Павел пошел к дверям, сразу из моря вышагнув на московское знойное сухопутье. Худо было на душе. Но адрес он все же добыл, и радовало, что тот человек, которого он собирался увидеть, "сплыл" отсюда, что ему, это ясно, не сладко сейчас, что есть женщина в этом доме, которая его презирает. А он и заслуживал презрения: верткий, сволочной мужик.

Адрес повел, заставил снова нырнуть в метро, пересечь всю Москву, очутиться на ВДНХ.

Когда-то он любил бывать здесь. Это был город в городе, и это был город, где всегда жил праздник. Золотые фигуры главного фонтана, наново золотые, подновленные, все же были из прошлого, из недавней старины, из его молодости. Тут много было новых зданий, деревья разрослись, укоренились. Очень давно последний раз был он здесь. В молодости. Еще до той вихревой поры, когда крутило его по Москве, но все по иным местам - в Москве оказалось много кругов, разных для разных возможностей. ВДНХ - это было место для людей скромных возможностей, для студентов, для пенсионеров, для семейных выводков. Он и бывал тут, когда был студентом, когда шашлык по-карски казался да и был шашлыком по-царски. Где-то тут, укрывшись за высокими зданиями, была - сохранилась ли? - великолепная та шашлычная, посидеть в которой тогда было праздником, редким, ибо редко водились деньги. А потом, в том круге, когда денег было навалом, по иным местам гонял, ни разу не вспомнив скромную, царскую ту шашлычную.

Магазин "Консервы", помнится, был где-то по правую руку от главного фонтана, где-то совсем неподалеку. Павлу не хотелось ни у кого спрашивать, где этот магазин, хотелось доказать

себе, что помнит выставку, помнит свои тут молодые шатания. Поплутал, но все же выбрал к почти круглому зданию, к помпезному строению, где в витринах красовались консервные банки, выложенные в замысловатые геометрические фигуры.

Торговый зал был невелик, хотя оглядеть его из-за вставших в нем квадратных колонн сразу не удалось. Торговля шла не бойкая, летом консервы и вообще худо идут. Несколько человек лишь стояли в очереди у прилавка с соками. Вот там, за этим прилавком, обряженный в белый, но измаранный уже томатным соком халат, и работал, занимая в магазине традиционно женскую должность, искомый Павлом человек. Он небрежно нацеживал в стаканы сок, небрежно мыл стаканы, небрежно отсчитывал мелочь. Равнодушие, брезгливость, но прежде всего отсутствие жили на его лице с барственными брылями, с чувственным ртом, с погасшими глазами. Небрежно был повязан его фирменный галстук, вяло падали на лоб с впечатанными морщинами серые космы. Никлый человек увиделся Павлу. Узнать в нем былого Олега Белкина было можно, но можно было и не узнать. Подменили человека, как говорится. Или сам себя подменил? Хватать такого за грудки, вперять в такого взгляд, требуя ответного взгляда, чтобы поймать на неправде, чтобы уличить, - да не пустая ли это затея? Не повернуть ли, не уйти ли?

Но Белкин уже сам узрел Павла. Встрепенулся, быстро поднес руки к глазам, будто протирая их ладонями, забыв обо всем, как к другу дорогому, кинулся к Павлу.

- Павлуха, да не может быть?! - и полез обниматься. Смалодушничав, Павел дал себя обнять, отворачиваясь от кислого томатного запаха, которым провонял Белкин.

- Мария Ивановна! Мари! Подмените меня! - кричал Белкин. - Друг вернулся! Хоть увольте, исчезну с ним обмыть возвращение!

Полная Мари выплыла из подсобки, взгляделась, узнала Павла.

- Надо же, Шорохов!

Здесь, даже в этом, на выставке, магазинчике, Павел Шорохов был среди своих, не чужаком, здесь было его бюро пропусков.

Полная Мари, она когда-то работала у Павла в гастрономе, сочувствуя, разглядывала его, потом ободрила:

- А вы молодцом еще, Павел Сергеевич! Дайте адресок, где обосновались. Я бы к вам перебежала. Возьмете?

- Пока еще нигде не обосновался, - сказал Павел. - Здравствуйте, Мария Ивановна. Работайте, работайте.

Он так всегда говорил, проходя по отделам, проносясь, улыбочиво: "Работайте! Работайте!" Жизнь тогда, казалось, подарила ему крылья.

- Мы пошли, Мари?! - взмолился Белкин.

- Идите, идите... - У нее стало печальным лицо, вспоминающим.

- Куда толкнемся? Ты при деньгах? - спросил Белкин, когда они вышли из магазина. Халат он так и не снял, халат ему тут был пропуском, объявлял его тут своим.

- При деньгах, - сказал Павел.

- А мы ждали тебя еще через три годика.

- Мы?

- Думаешь, тебя забыли? Процессик был из приметных. И ты ведь у нас из приметных. На меня тут глядя не удивился? Как нашел? Искал? Случайно?

- Искал. Между прочим, какая-то дама, откликнувшаяся по твоему служебному телефону, просила передать, что она тебя презирает.

- А, Надежда?! Рассчитывала замуж за меня выскочить. Это когда я был в форме. Потом отвернулась. Узнала, видите ли, что я вел не совсем честный образ жизни. Прозрела! О, эти Надежды, они прозревают, они покидают нас только после нашего крушения!

- Похоже, крушение было из серьезных?

- Как взглянуть! - Стертые глаза Белкина вдруг обрели колючесть. - Не присел все-таки. Строгач - это еще не конец. Еще повоюем, еще возвратимся. Ты-то как у нас? Шрамы эти где заслужил? Там что же, и поныне ножами балуются?

- Не пугайся, это не там. Там бы тебя просто каждое утро заставляли нужник мыть. Отнимали бы посылки. В бане бы спину всем намыливал. Ты там был бы "шестеркой".

- Злой ты. Злые глаза. А я тебе обрадовался, как брату.

- Ну, ну. Пошли, что ли, действительно выпьем. Шашлычная тут еще работает? Домик такой с завитушками, с колоннами - цел он?

- Усилада юности твоей? Цел, цел. Пошли, проведу. Но только, если у тебя ко мне вопросы, а ты с вопросами явился, спрашивай здесь, в тиши дерев.

- Вопросы? Были вопросы. - Павел задумался. - Были. Много было вопросов, да что теперь спрашивать?

- С кого, хочешь сказать? Повержен, уничтожен, какой с меня спрос так, верно понял?

- Один вопрос, один всего вопрос, Олег... Скажи, как ты добывал и кому передавал для продажи без накладных те сотни банок икры, которые и ко мне в гастроном закатывались?

- Вопрос тянет лет на шесть строгого режима, - сказал Белкин, и его брылястые щеки затряслись от мелкого, трясуемого смешка.

- Я свой срок отбыл.

- А мне никакого срока не нужно. Ворошить старое вздумал, Павел Сергеевич?

- Старое повязано с новым.

- Повязал, развязал - это из блатного мира, это у тебя, Паша, благоприобретенное. Но мне этот мир чужд и враждебен.

- За что погнажи из министерства?

- Запомни, чужд и враждебен. Не погнажи, собственно говоря, а уволили по сокращению штатов. Там ведь у нас штормило.

- А теперь уже не штормит?

- Нет. Ясная погода. И ты, Павел Сергеевич, зря старое ворошишь. С этим тебе тут у нас не начать. Куда ткнул-то? К кому? Меня вот пристроили.

- Стаканы мыть?

- Тебе, может, что получше предложат. Поторгуйся. Но только никого не пугай. Советую, не пугай.

- Да, а все же ты тянешь и еще на один вопрос.

- Пашенька, а может, пожужим шашлычку, попьем чего-нибудь, а? К бабам, если не остыл, можем закатиться. Ты вон какой еще видный! А? Ну зачем нам душу беречь? Ты отсидел, меня прогнали, именно, именно. Начнем по новой, а?

- Не виляй, Олег, не выжимай из себя слезы. Скажи лучше, какие у тебя тогда были дела с Митричем?

- С кем, с кем? - Белкин соображал, метались у него глаза, то яснее, то снова мутнее. - А, с Колобком? Какие же дела с Колобком могли быть у ответственного работника министерства? Шапочное знакомство. Кто на Москве не знает чудака этого при рыбках? Даже туристам иностранным его показывают.

- Чудак, не спорю. Что у тебя за дела были с этим чудачком? Левый товар не от тебя к нему шел?

- Борис Дмитриевич Миронов - действующая фигура. Где работал, там и работает. Ты бы у него и спросил.

- Спрашивал!

- И как он отреагировал?

- Колобок. Уклонился. Укатился.

- Я так и думал. Умный дядя. Да разве такие вопросы в лоб задают, Павел Сергеевич? Ты, гляжу, начал забывать торговый мир. Да кто тебе признается в чем-либо таком, если даже и погрел руки?

- Верно, я спешу. Но я пять лет к этой спешке шел.

- Было время подумать, стало быть?

- Было!

- Подумай тогда и еще чуток, Павел Сергеевич. Не спеши, не спеши, подумай. А что касается меня, то я Митрича вообще не знаю. Смутное видение. Катящийся шар. Забыл! - Белкин остановился, жалеючи Павла ли, себя ли, что сорвалась выпивка, покачал, сникая, головой, повернулся и шибко зашагал назад к своим стаканам.

23

Каким он здесь бывал? Павел попытался вспомнить себя. Шел назад к арке главного входа и вспоминал. Думая о далеком, о забытом, он отгораживался от сегодняшнего себя, брал передышку. Тогда все было просто, все было ясно. Бесконечно большая впереди посверкивала жизнь. А пока жилось, как дышалось. Сюда приезжали институтскими компаниями, чаще всего после стипендии, чтобы побыть в этом празднике, в этих павильонах Грузии и Армении, где и зимой висели на ветках громадные лимоны, где пахло мускатным



виноградом, где и зимой было тепло, как летом, еще теплее даже, чем в метро. А зимой тогда бывало холодно, студенческие одежки не грели, ботинок, сапог на меху не было и в заводе. Приезжали, отогревались, нанюхивались ароматами из "Тысячи и одной ночи", складывали рублишки, шли в шашлычную, а мало было денег, так в пельменную. Девушки в их компаниях готовы были отозваться на любую шутку, смех красил их, они знали это. Он был не последним в студенческом застолье, пожалуй, из первых. Ему говорили, что с ним легко. Ему всегда говорили, что с ним легко. Ему и самому было с собой легко. Все получалось, все ладилось. Хорошо учился, хорошо шел спорт - баскетбол, прыжки, бокс. Он и петь мог, брэнчал на гитаре. Отец говорил ему: "У тебя, Павел, ко всему хорошие задатки. Это меня беспокоит". Стариков всегда что-нибудь да беспокоит. Мать не спала, когда он поздно возвращался. Не так боялась за старшую дочь, как за младшего сына. Она говорила ему: "Ты на ветру у меня". Он и тогда не понимал, какой смысл она вкладывала в эти слова. Он и сейчас не понимал. Легкомысленным ей казался? Куда ветер дует? Он был сильным парнем, умел постоять за себя, нет, его не так-то просто было сдуть.

С отцом здесь однажды побывал. Совсем уже давно, еще в детстве. Запомнил, потому что отец был всегда занят, по пальцам можно было сосчитать, когда они вдвоем куда-нибудь выбирались. По-мужски. Здесь они были в кино, в летнем кинотеатре. Павел искал, оглядываясь, где этот кинотеатр под открытым небом, громадное такое круглое сооружение из зеленых досок. Не отыскалось это сооружение. Наверное, снесли, построили нечто новое, современное и с надежной крышей. Пора наивных зрителей, мокнущих под дождем, миновала. Помнил Павел и фильм, который они смотрели, забыл только название. Там мчались кони, там слепило глаза солнце. И белели снежные вершины гор. Отец специально пошел на этот фильм, потому что в нем показывали поле, до горизонта укрытое чем-то белым. Но это был не снег, это был хлопок. Отец хотел показать сыну, как выглядит хлопок на поле, потому что вся жизнь отца была связана с хлопком. Он работал в Министерстве легкой промышленности и ведал там распределением всего хлопка страны по текстильным фабрикам. Отец гордился своей работой. Он начинал с Акимовым, он работал с Косыгиным. Отца считали крупнейшим знатоком хлопка. Его друзья, приходившие к ним в гости, всегда подчеркивали это. Даже тосты такие произносились: "За знатока!" Но жили они бедновато. Не очень тяготились этим, мать умело вела хозяйство, но все же всегда чего-нибудь не хватало. Всякая новая вещь была проблемой. В разговорах между отцом и матерью часто возникала тема денег. Как дотянуть? Как сократить, чтобы дотянуть? Но никогда не возникал вопрос: "Где взять?" В их семье страшились долгов. Потом, когда закружило Павла, когда пошли к нему большие деньги - отца уже тогда не было в живых, - вспоминая отца, обдумывая, как он работал, чем занимался, Павел не мог не понять, что отец, как говорится, сидел на мешке с деньгами, ведь он планировал распределение хлопка, дефицитнейшего во все годы сырья. Сидел на мешке с деньгами, довольствуясь скромной зарплатой. Не брал никогда подарков, а с ними к нему подкатывались иные из толкачей. Он, смеясь, рассказывал дома про эти подкаты, рассказывал, как выгонял из своего кабинета субъектов с презентами. Дома у них всего лишь два жалких висело коврика, купленных отцом на сбереженные от командировок деньги. Сестра ходила годами в одном и том же пальто. Коньки Павел себе купить не мог, брал у приятеля, лыжи и лыжный костюм ему выдали в институте. Так кем же был его отец, чудаком? Фанатиком-коммунистом? Нет, он даже не был членом партии. Говорил, что опоздал, что надо было в войну вступать, когда "коммунисты - вперед", а он не вступил тогда, пропустил минуту. Так, значит, чудаком был его отец? Он таким не казался ни сыну, ни дочери, ни жене, он таким не казался, их отец и муж, Сергей Павлович Шорохов, участник, как теперь пишут, Отечественной войны. Просто он был честным человеком. Обыкновенным честным человеком.

Так, может быть, оттого, что натерпелся нужды, кинулся он за большими деньгами? Оголодал, так сказать? А сестра почему не оголодала? Нет, все не так просто. И не всегда, вот и не всегда из честной семьи выходят честные, а из бесчестной - бесчестные. Тут не сыскать экономических обоснований, психологических предпосылок, хоть ты и

дипломированный экономист, учили тебя и философии, и логике. Стоп, довольно вспоминать, блуждать в прошлом, если память все равно поворачивает назад, в сегодня. В хмури эту посреди солнечного дня. В тягость эту, когда надо узнавать, сопоставлять, решать. Да, решать!

Но в хмури и тревоге, властвовавших над ним, был, жил, звучал то ли свет, то ли голос, то ли образ. Было место в этом громадном городе, куда влекло, был человек, женщина, от которой ослеп, женщина, которая ему доверилась, чье доверие он не обманул. Вседозволенность? Да где же она? Он ничего себе не посмел позволить, позволявший столько. Не переступил черту, переступавший столько.

Там, в квартирке с окнами на купола древней церкви, там ждет его чай с медом, хлеб с маслом, женщина, простая, как этот мед и хлеб, прекрасная, как этот мед и хлеб.

Снова, в который раз сегодня, припустил Павел бегом, чтобы поскорее добраться до метро, чтобы до того дома поскорее добраться, где дверь, как "Сезам, откройся!" - открывается на два, пять и семь.

В дверь квартиры Павел постучал, больше уже не решаясь пользоваться ключом. Он прикинул, что Лена уже поднялась, в пути он придумал, как избежать разговора про это ведро с розами посреди комнаты: сразу с порога он позовет Лену обедать в какой-нибудь ресторан, да и время было обедать, сразу с порога начнет ей рассказывать про выставку, где не бывал с молодых лет, заговорит ее, не даст слова вставить. Главное, проскочить первую неловкую минуту, увернуться от ее глаз, проследить, чтобы и свои глаза не выдали. Теперь уже нет былой Лены, серенькой медсестры, теперь никогда уже она такой не будет.

Лена отворила, не спросив даже, кто стучит. Она была во вчерашнем платье, которое шло ей, вчера шло, а сегодня уже неважно было, в каком она платье.

- Входите, Павел.

Павел шагнул в квартиру, увидел повсюду свои розы - и в комнате, и на кухне - в вазочках, банках, стояли они и в ведре.

- Красота! - воскликнул Павел. - Все-таки розы - всем цветам цветы! Лена, я приглашаю вас в ресторан! Тут есть неподалеку вполне приличный, "Урал". При гостинице того же имени. Собирайтесь! Вам когда сегодня на дежурство? Снова вечером? У нас уйма времени!

- Павел, я совсем-совсем была голая, когда вы вошли? - Она смотрела на него, и никуда ему было не деться.

- Совсем, Лена.

- Ну вот и выяснила. Хорошо, пойдем обедать. А за розы спасибо, большущее спасибо. Вот уже ведрами мне розы никто не дарил, даже больные, отбившиеся от смерти.

- Лена...

- Что - Лена? У меня есть зеркало, вот оно. Я и сама себя иногда разглядываю.

Невозможно было узнать эту женщину, совсем другой стала. Только и спасало, что чуть-чуть тянуло от нее лекарствами. Родным показался этот запах.

- Вы все же отвернитесь, встаньте у окна, когда я буду выходить из ванной. - В ее голосе жил смех. - Секретов у меня теперь от вас нет никаких, а все-таки...

Невозможно было узнать ее, невозможно.

Про "Урал" Павел вспомнил, потому что этот ресторан был рядом, он часто бывал в нем, когда жил поблизости, это был его как бы домашний ресторан, он подзывал сейчас Павла привычно. Хоть ты и москвич, а когда долго не поживешь в Москве, да еще когда хмуро тебе, невольно цепляешься за близкие к родному дому углы.

Они решили идти пешком. Три остановки на троллейбусе, ну, четыре почти - пустяковое расстояние. Лена опять надела свое белое выходное платье, которое ей не шло. Все равно теперь. Даже лучше, что она в этом платье. Не все ее угадают.

Они шли и переговаривались, так, ни о чем. Вот старинный особнячок ремонтируют. Оказалось, когда отбили штукатурку, что у него даже колонны были из дерева, открылась старая почерневшая дранка. А выглядел таким прочным, каменным. Такие и люди бывают. Чаще всего такие и бывают. Когда пересекали Садовое кольцо, Павел указал Лене на свой дом.

- Вон на седьмом этаже окно, а над ним балкон. Там я и жил.

- Я здесь новенькая, все равно бы мы не встретились, - сказала Лена.

Когда проходили мимо церкви на углу улиц Чкалова и Чернышевского, Павел рассказал Лене, что раньше тут было архимандритское кладбище. А потом, когда поравнялись с проходом, выведившим с улицы Чернышевского к ним во двор, Павел рассказал Лене, что там, слева у стены, растут каштаны, не такое уж частое дерево в Москве.

Но вот и "Урал". Хорошо все же идти по так запомнившейся дороге, что и через пять лет она кажется тебе вчерашней. Хорошо, когда гардеробщик, встречающий тебя и твою даму, все тот же, узнает тебя, профессионально, впрочем, позабыв, когда ты тут был в последний раз.

- Здравствуйте, дядя Коля!

- Здравствуйте, здравствуйте... Давненько...

Дядя Коля постарел - это не шутка прожить пять лет при ресторане и еще при баре, который тут же, напротив гардероба. Но золото на фуражке и галуны на рукавах у дяди Коли горят огнем. А бар, как новенький, круглые сиденья не хранят ножевых шрамов, как раньше, обтянуты наново и во что-то яркое, бутылок с заморскими ярлыками за спиной у барменши прибавилось.

- Смотрю, большая польза от Олимпиады для Москвы, - сказал Павел и уверенно повел Лену по лестнице на второй этаж.

В ресторане было пустовато. Летом здесь и раньше было пустовато. Низкие потолки, много стекла, современное сооружение, когда глазам вольно, а дышать нечем. Но тут отличный был повар, мастер рыбных блюд. Павел сказал об этом Лене:

- Тут отличный повар по рыбе. Любите рыбу?

Она кивнула.

Он повел ее, гордясь ею, по узкому проходу, к тому самому столику в глубине зала и в углу, где было поменьше все же солнца и где он и раньше любил сидеть. Столик, к счастью, был

не занят.

Они сели, и к ним сразу подошла официантка. Наверное, узнала его? Нет, едва взглянула. Впрочем, у официанток, как и у продавцов, профессионально отсутствует память на лица. Зато у них профессионально присутствует нюх на клиента. Павел тоже не узнал эту пожилую женщину, непомерно раздавшуюся, с усталыми, в прошлом бедовыми глазами. Она добро поглядела на Лену, на ее собственноручного шитья платье, в ее лицо без малейшего грима, она долго читала Лену, чего-то не умея понять. Павла же прочла, лишь глянула.

- Не перед загсом ли к нам зашли, милые? - спросила благожелательно официантка.

- Почти, - ответила Лена невозмутимо.

- Повезло вам, товарищ, - сказала официантка Павлу. - Где-то я вас встречала. Захаживали к нам?

- В первый раз.

- Нет, а вы бывалый. Как будем обедать, с размахом?

- Разумеется.

- Павел Сергеевич, только мне ни грамма, - сказала Лена.

- Выходит, я ошиблась, - удивилась официантка. - Деловая встреча? А вы-то выпьете, молодой человек?

- Немного водочки. И, знаете, несите все по своему усмотрению. Рыбное что-нибудь. Повар все тот же?

- Все тот же. Говорила, что вы тут у нас бывали.

- Бывал, бывал.

- Далеко, видно, от нас отъезжали?

- Далеко.

- Я и смотрю. - Она отошла от стола, покачиваясь на тяжелых, уставших ногах.

- Умный народ - эти официантки, старые официантки, - сказал Павел. Разбираются в людях. Заметили, Лена, как она вас изучала? Вы для нее новинка.

- Все старые женщины, мне кажется, умны, - сказала Лена. - У нас такие есть в больнице старушки, что только взглянет на больного - и все про него уже знает. Даже - жилец или нет. А никакой не доктор, обыкновенная сестра. Вы не стали там работать, Павел, вы уволились?

- Уволился.

- Я рада за вас. Совсем от них отделались?

- Нет. Вернее сказать, я-то от них отделался, а они от меня - нет.

- Тетрадь? Это она вам велит?

- И тетрадь, и я сам. Есть вопросы, Лена, есть вопросы. Я эти вопросы пять лет копил.

- Вы пришли, когда вы пришли с цветами... Вы ведь сперва не думали мне покупать цветы,

так вышло, случайно вышло?

- И молодые медицинские сестры очень умный народ.

- Заскочили в цветочный магазин, искали нужного человека для разговора, а уж потом надумали цветы купить - ведь так все было?

- Умный, умный народ. А у нас в Кара-Кале такие же есть рестораны, как и этот. Ничем не хуже. И стекла много, и дышать нечем. Но зато какая там еда. Лена! Шашлыки, какие шашлыки, манты, плов! Про помидоры я не говорю! Про дыни, арбузы, гранаты...

- А уехали. Жили бы там, не знали бы мы с вами горя.

- У вас какое же горе?

- Ох, Павел, я же не глупая, вы сами сказали.

- А я что ж, покручусь тут немножко, а там и назад. К змейкам. Там и друзья уже есть. Примут, обрадуются. Верно, а не рвануть ли в Кара-Калу?!

- Вы это только сейчас надумали?

- К чертям эту тетрадь! Обмотаю ее клейкой лентой и засуну куда-нибудь. Пусть разбираются, когда меня гюрза перехитрит. Пусть полежит пока.

- Только сейчас надумали?

- Захочу, смогу там и по специальности устроиться. Там специалисты с дипломом понужней, чем в Москве. С любыми документами примут.

- Устали, Павел? Сколько вы уже в Москве?

- Долго! - Он подумал, посчитал, удивился: - Всего четыре дня, пятый день! Не может быть, всего-навсего пятый день!

Подошла официантка, неся поднос с закусками, с маленьким графинчиком водки, с громадным графином какого-то фирменного напитка. Она стала устанавливать стол едой, довольная, что раздобыла всю эту снедь, добро поглядывая на Лену, для которой и старалась.

- Помидоров нет? - спросил Павел.

- Где ж их взять?

- Так ведь лето, они летом и бывают, - сказал Павел.

- На рынке, не у нас. Ну да ладно, у меня свои в сумке есть, принесу парочку. Вам, девушка. - Официантка пошла, заспешила на тяжелых, уставших ногах.

- Просто влюбилась в вас, - сказал Павел. - Вот, Лена, лето, а в ресторане, в дорогом ресторане нет помидоров. Послать бы директору своего сотрудника пусть хоть в даль далекую, в Ашхабад, купить бы там ящиков двадцать помидоров, пригнать пусть хоть даже на самолете. Ведь окупится. Клиент спасибо скажет. Нельзя! Не фондовый товар. Частная операция. Вот жулики и греют на этом руки. Так создается дефицит. А в Ашхабаде или, скажем, в Кара-Кале помидоры сейчас некуда девать.

Вернулась официантка, выложила на стол, гордясь, два блеклых помидорчика.

- Кушайте на здоровье! - Уходя, она кивнула Лене, ободряя, мол, держись своей линии, мужики, мол, такие-разэдакие, а нам - страдать.

- Влюбилась. В вас, знаете, что главное, Лена?

- Что?

- Вы - надежный человек. Вам довериться можно.

- А-а. А я было подумала, что вы станете сейчас разбирать мои женские достоинства. - Смеялись ее глаза, смех в них был новостью для Павла. Менялась, она все время менялась.

- А вы не такая уж простая, - сказал Павел.

- Не такая уж, Павел. Вы выпейте, вам надо разжаться.

Павел налил Лене из громадного графина, где сиротливо плавали лимонные дольки, налил в стакан себе водки, отказавшись от рюмки, спросил:

- Можно я сразу выпью все эти сто пятьдесят граммов?

- Можно.

- За вас, Лена! А что, да вы красавица! - Он выпил, разом опрокинув стакан. Легко пошла водка. - Какое-нибудь модное платье, модная прическа, чуть-чуть грима - и все ахнут! Вы спрятались, а вы - красавица! - Потому и хотелось ему сразу выпить, чтобы сразу полегче на душе стало, чтобы хоть на минутку забыться. - Но я рад, что вы спрятались, рад. Иначе мне бы не видать вас как своих ушей. Прошли бы с каким-нибудь везуном мимо меня и не взглянули. Только бы дверца машины хлопнула, "Чайки". Вы для "Чайки", Лена. Так вот генералы и министры и женятся. Углядят своими ястребиными глазами какую-нибудь медсестру, буфетчицу, библиотекаршу, разгадают ее в бедном платьице, Золушку эту, и потащат к себе во дворец. И вот вам - новая на Москве красавица. В театре все - ах! В банкетном зале все - ах! В посольстве на приеме все - ах! Кто такая? Откуда царица?! А это Лена, медсестра...

Она слушала его, потупившись, лишь мимолетно взглядывая на него, усмешливо, добро, печально. Она была сейчас старше его на много, много лет. Но слова его ей нравились, они не могли ей не нравиться, они, эти слова, шли Павлу, были к лицу ему, он помолодел, таким он, наверное, был лет с десять назад, в пору своей удачи.

- Вы слушаете меня? Чему вы улыбаетесь? Я истину говорю!

- Я слушаю, слушаю.

- Пошли бы за генерала? Выскочили бы за министра?

Лена удивленно поглядела на Павла, мимо него, не его словам удивившись, а чему-то своему, в себе. Она опечалилась, вспомнила, замкнулась.

И как потом Павел ни старался развлечь ее разговорами, она не откликнулась, слушая его вполслуха, сосредоточенно занялась едой, спеша покончить с этим, как спешат в обеденный перерыв.

Он проводил ее до остановки троллейбуса, Лена решила ехать на дежурство, не заходя домой.

- До завтра, - сказала она. - До завтрашнего утра. Только, пожалуйста, не ложитесь на пол. - Двери троллейбуса замкнулись, мелькнуло за стеклами ее замкнувшееся лицо.

Павел побрел по улице Чернышевского, туда, к своему дому. Привычная была дорога. Он все кружил возле своего дома, хотя дома у него не было. Но там жил сын. Зайти бы хоть на минуту, глянуть бы на стены, в которых вырос, где умер отец - прилег вечером на диван и не проснулся, инфаркт, - где умерла мать, пережив отца всего на три года, тоже заснула и не проснулась. Это были родные стены. Побывать бы в них, подумать бы, там бы что-нибудь придумалось бы, нашелся бы какой-нибудь выход.

В квартире Лены ждала его тетрадь. Он и сегодня ее читал, бегая по Москве, читал, когда разговаривал с Митричем, когда потом разговаривал с Анатолием Семеновичем, этим цветоводом-счетоводом, разговаривал с Олегом Белкиным, чиновником министерства, ныне перемывающим стаканы у стойки с соками. Но еще читать ему ее и читать - эту тетрадочку. Или и вправду, обмотать лентой и сунуть куда-нибудь подальше? Ему даже некуда было сунуть эту тетрадь. Он был бездомен, полностью бездомен. А что, а не рвануть ли на самом деле назад в Кара-Калу? Не такая глупая идея. Ну, уехал, побывал в родной Москве, ну, а теперь вернулся. Что, не приняла Москва? Да, бывает же нелетная погода, когда объявляют на аэродромах: "Москва не принимает!" Такого, как он, не принимает? А можно и повернуть вопрос. Это он сам не принимает такую Москву, какой она перед ним открылась. Но разве свет клином сошелся только на той работе, какую он умел делать раньше? Вон, чуть ли не на каждой стене висят в рамках объявления о найме на работу. Он подошел к одной такой рамке, вчитался. Нужны были слесари-электрики, слесари-сантехники, истопники, но нужен был и счетовод. Невелика должность, могут взять и с судимостью. Но невелика и зарплата, рублей сто, сто двадцать, не больше. Зато выдадут казенные нарукавники, будет ему полагаться казенная шариковая ручка. Нет, ну их, эти нарукавники, перебьется!

Пройдя узким проходом в старом доме, соседствующем с церковью на углу, не сообразив даже, что в свой двор сворачивает, Павел опять очутился на своем дворе, на пяточке у каштанов. Он глянул с надеждой, вдруг да повезло, вдруг да Сергей гуляет здесь сейчас с Тимкой. Сергея не было. Павел посмотрел на часы. Еще в самом разгаре был рабочий день. А что если?..

Более не раздумывая, Павел быстро пересек двор, вошел в свой - да, в свой! - подъезд, вошел в свой лифт, поднялся на свой этаж. Позвонил, ни о чем не думая. Он потом проклянет себя, а сейчас он ни о чем не думал, рукой только дотронулся, когда свел палец с кнопки звонка, до двери, знакомой всеми своими царапинами, надрезами, гвоздями этими с фигурными шляпками. Он сам их и забивал, эти гвозди. Была у него полоса, когда увлекся собственноручной доводкой квартиры до шика и блеска. Была такая мода тогда: демонстрировать мужчинам уместность рук, пусть хоть они и директора или там министры даже, артисты, писатели. Вспыхнула тогда мода еще и на то, чтобы мужчина умел готовить, нацеплял бы передник и вставал бы к плите. И такие тогда мужиками изобретались кушанья, какие женщинам вовек не придумать. Сами ходили на рынок, с корзинами, сами выбирали мясо, овощи, торговались отчаянно, нет, не из жадности, а для ритуала. И он нацеплял передник, ходил на рынок, жарил что-то потом невероятное, изумляя друзей. Тогда же он и эту дверь собственноручно обил, раздобыв эти медные мордатые гвозди.

На звонок сперва откликнулся Тимка. Брехал он еще неумело, именно что брехал, влаивал, а не лаял. Какой милый пес! Какая морда у него расчудесная! Взять бы сына, взять бы этого Тимку и укатить назад в Кара-Калу! А?!

Дверь отворилась, Сергей стоял в дверях.

- Отец? - Мальчик и удивился и не удивился, он умел сдерживать свои чувства. Не рановато ли научился?

- Можно, я на минуточку? - спросил Павел, изнывая от своего вопроса, от просьбы этой, обращенной к сыну.

- Конечно. Мамы нет дома и Валентина тоже. Входи.

Тимка выскочил навстречу. Этот еще не научился скрывать свои чувства. Он признал Павла, ткнулся ему в руку холодным носом, вымаранным в каше. Павел ладонью стер с носа Тимки кашу, понюхал ладонь. Пахло от ладони гречневой кашей, сухим щенком, детством.

Их квартира была просторной, хотя в ней было всего две комнаты. Но их дом строился еще до войны, был из числа сооружений, которые потом стали называть "сталинскими", его возводили годы и годы, зато потолки были высокими, комнаты большими, прихожая, куда вступил Павел, просторной, просторен был и коридор, уходивший к кухне.

Павел топтался в прихожей, оглядывался, уже пожалев, горько пожалев, что пришел сюда. Нельзя возвращаться ни к женщине, которая тебя предала, ни в дом, где тебя предали, где эта женщина живет сейчас с другим. Здесь все было чужим Павлу, враждебным. Даже стены, даже двери. Даже паркет, который не поменяли, он был все тот же, но его покрыли лаком, омертвили этим лаком, как омертвили стены пышными обоями, кричащими позолотой, будто это не передняя была, не коридор квартиры, где люди живут, а какой-то дворцовый переход, в конце которого на столбиках укреплен шнурок, не пускающий в покои.

- Ходи, смотри, ты ведь тут жил, - сказал сын.

Обе двери в комнаты были притворены. За этой, по левую руку, жили мать и сестра, за этой, прямо перед ним, жил он с отцом.

- Я туда, - сказал Павел. - Загляну только. - Он отворил дверь в ту комнату, где прожил почти тридцать пять лет. Вошел. Как раз солнце уже начало склоняться на закат, и комната, с окном на закат, с этим привычным, памятным оранжевым кругом над крышами, была высвечена подробно и жестко. Его книги стояли на полках. Его и отца. Сразу узнались корешки, хотя их спрятали за стекло, а раньше они стояли на открытых полках, которые смастерил отец. Этих полок не было. От старой мебели тут ничего не сохранилось, даже письменного стола тут не было. Просторная тахта, совсем не для мальчика, цветной телевизор, журнальный столик, заставленный непочатыми бутылками виски, джина, "Чинзано", еще там чего-то, тяжелые кресла. Столик был утлый, из ушедшей моды, кресла были из моды нынешней.

- Где же ты занимаешься? - спросил Павел сына. - На чем спишь?

- А это не моя комната.

Павел подошел к книжным рядам. Очень захотелось подержать в руках хоть одну из этих книг, столько сразу напомнивших и про себя и про него, читавшего их, про отца, мать, сестру, про всю их жизнь здесь. Но книги за стеклами были еще отгорожены бесчисленными какими-то безделушками, фигурками, к ним приставлены были фотографии, непрерывный, одноликий ряд позирующего человека - улыбающегося, задумчивого, сидящего, стоящего, одетого, почти раздетого, в шапке, в кепке, в панаме, в дубленке, в пижаме, в трусах, в плаках, в лыжном костюме, - до книг было не добраться.

- Культ личности какой-то! - усмехнулся Павел и пошел назад в прихожую. - Позволь, взгляну, как ты живешь.

Павел отворил дверь в комнату, где раньше жили его мать и сестра, в большую комнату, в



ней было метров двадцать шесть, в праздники они собирались тут всей семьей, принимали гостей.

Их прежняя мебель исчезла и из этой комнаты, а сама комната показалась маленькой, так она была заставлена. Сюда втиснут был спальный гарнитур, но для спальни какой-нибудь магнатессы. Мебель была белая, с вызолоченными узорами, шкаф загоразивал почти всю стену, двери его были, как ворота во дворец, голубой с золотом парчой были обтянуты кресла. Но не было, да и места не было, для стола, за которым бы мог заниматься мальчик. Не было и его койки.

- Где же ты спишь? - спросил Павел, чувствуя, как щемит в груди, как подступил к горлу комок от боли за сына. - Где занимаешься?

- За шкафом у окна я раскладываю походную кровать. Мне нравится, что она узкая и твердая. А занимаюсь на кухне. У нас кухня очень большая, ты же знаешь.

Плохая жена, ну ладно, но Зинаида оказалась и плохой матерью.

- Пошли на кухню, - сказал Павел. Теперь он двинулся вперед, никакого не испытывая смущения, что расхаживает по чужой квартире, теперь он шел, сжимая в себе ярость, боль и ярость.

Да, эта кухня действительно была большой, метров пятнадцать в ней было. Там легко помещался просторный круглый стол. И вот на этом обеденном столе, с краешка, у окна, в самом углу, угадывался уголок Сережи, какой-то его ящик стоял с книжками, с мальчишеской разной разностью.

- Тут и играешь? - спросил Павел. - А как же газ?

- Наш дом скоро переведут на электрические плиты. У меня и еще есть место. Это уж совсем мое. - Сережа вскинул руку, указывая отцу на антресоли, на шкаф, большой хозяйственный шкаф под потолком, благо что потолки тут были высокими. Павел помнил этот шкаф с дверцами и в коридор и в кухню. Туда можно было забраться с помощью стремянки, что Павел с Ниной и делали, когда были маленькими, там можно было даже сидеть согнувшись. Да, у них там был их тайный уголок. Но там долго усидеть было невозможно: там было душно и жарко.

- Но там же душно, жарко, - сказал Павел, и ему стало душно и жарко.

- Ничего, я туда проводку сделаю, у меня будет вентилятор. Жаль, Тимка не обезьяна, а то бы он мог там отлично жить.

- А где его место?

- Вот здесь, под столом, когда я здесь. А вообще-то в передней. Проблема не в этом...

- А в чем? В чем еще?

Мальчик опустил голову, молчал.

- Ты поделись со мной, сын, не копи в себе, - попросил Павел.

- Они хотят отдать Тимку. Как я ни слежу, но иногда он что-нибудь да запачкает. Они боятся, что он начнет скоро все грызть.

- Зачем же взяли? Живое же существо.

- Я очень просил. Я обещал, что всегда буду гулять с ним, слово дал. Валентину понравилось, что у Тимки такая родословная. Взяли, а теперь раздумали. Не знаю, как быть.

- Собака замечательная, - сказал Павел, прислушиваясь, как бежит в нем подоженный бикфордов шнур, подбирается огоньком к сердцу. - Сережа, сынок, а что если нам с тобой и с Тимкой рвануть отсюда?!

Когда вспыхивал в нем этот бикфордов шнур, так бывало уже, Павел принимал решения. Стремительные, неожиданные, взрывные. Жизнь притушила эту взрывчатку в нем, но, видать, не до конца.

- Куда? - поднял голову Сережа.

Павел обнял его, притянул к себе, рукой придерживая и Тимку, который тоже задрал голову, словно спрашивая - куда?

- В Туркмению, в Кара-Калу, в город, откуда я приехал! Слушай, сын! Павел увлекся, он загорелся, бикфордов шнур бежал по его сердцу. - Там граница. Там у меня полно друзей среди военных. Там нашего Тимку обучат всем наукам. Когда тебя призовут в армию, тебя призовут вместе с собакой. Представляешь?!

Сережа помолчал, подумал, внимательно глядя на отца, сказал:

- Я согласен.

- Просто сбежим - и все!

- Я согласен.

А в Павле мысли насккивали одна на другую. Вот зачем он здесь! Он приехал за сыном! Не своим устройством надо ему заниматься в Москве, а надо ему спасать сына. И себя, а что, и себя тоже. Все складывается как нельзя лучше. Потому что все сложилось как нельзя хуже. Мальчик в беде. Он сам в беде. Эта собачонка - она тоже в беде. Надо спасать - сына, себя, эту собачонку! Надо сбежать отсюда!

- Вот что, - сказал Павел, успокаиваясь, остывая, потому что решение было принято. - Сейчас я пойду. А завтра встретимся и обговорим детали. Никому ни слова, Сергей. В школу твою я потом напишу. Вещей никаких нам твоих не нужно. Все - наново, заново.

- А Тимку пустят в самолет?

- Покатим на поезде. Откупим целое купе. В жестком купе собак возить разрешают.

- Тогда все в порядке.

- Тогда все в порядке. Встречаемся завтра и все обговорим. Где мы встретимся? У каштанов? Когда?

- А можно, мы пойдём с тобой в зоопарк? - попросил Сергей.

- В зоопарк? - удивился Павел.

- Мы там были с тобой. Я помню, как мы там были с тобой. Я тебя почти забыл, а в зоопарке помню. Даже помню, что ты нес меня на плечах. Высоко было.

- Понял, понял. Решено, идем в зоопарк. Я буду ждать тебя завтра у каштанов ровно в одиннадцать. Договорились?

- Договорились.

- Без Тимки. Зачем ему в зоопарк?

- Без Тимки.

Они вышли в коридор, вышли в переднюю. Они шли рядом. Павел обнимал рукой плечи сына, и рука сына тянулась к его плечу. Тимка путался под ногами, он радовался, влаивал, подпрыгивал. Весьма возможно, что он учуял дальнюю дорогу.

- До завтра!

- До завтра!

Лифт спустил Павла, мягко, бережно, это был родной лифт, но спустил на землю. И едва Павел ступил на землю, очутился во дворе, очутился в буднях и в гуле московском, решимость стала покидать его, стали разъедать сомнения. Но слово было сказано, и слово это было сказано сыну. Что-то надо делать, все равно что-то надо делать: мальчику плохо жилось, это уж ясно, ему было плохо.

26

В первом этаже его большого дома чего только не было. Был фруктовый и винный магазин, но был и книжный, была и почта. Вот на почту Павел и зашел, помня, что в ней есть междугородный переговорный пункт. Он разменял трешку на монетки по пятнадцать копеек, зашел в кабину, достал свою пухлую записную книжку и позвонил, набрав нужный код, в Дмитров, к сестре на работу. Нина сразу же отозвалась, и слышно ее было хорошо, близко.

- Нина, это я, Павел. - Он помолчал, вслушиваясь в ее обрадовавшийся ему голос. - Нина, что ж ты мне не сказала, как плохо живет мальчику.

Теперь там молчали, в Дмитрове.

- Его же спасти надо, - сказал Павел.

- Как? - тихо отозвалась сестра. - От родной матери не отнимешь.

- А если мать никудышная?

- Ты, что ли, кудышный? Устроился? Чего молчишь?

- Думаю, думаю. Ладно, я тебе еще позвоню на этих днях.

И повесил трубку. И весь разговор. А что мог он сказать сестре? Он только для того и позвонил, чтобы услышать родной голос, чтобы поделить с родным человеком навалившуюся на него тяжесть. Еще одну тяжесть. Плюс к той, которую навалил на него, умирая, Петр Котов. Плюс к той, какую сам стал наваливать на себя, визнавая, сличая, обдумывая, припоминая.

Пешком дошел он до дома Лены, думая, думая. Но мыслей не было. Как-то так получалось, что ничего не удавалось обдумать. Кружились мысли, топтались на одном месте, все одни и те же, не мысли, а обрывки.

Когда так думается, лучше вовсе не думать, идти, бросив поводья. Павел и забрел, бросив

поводья, в промтоварный магазин, стоявший стена в стену с домом Лены. Ему нужны были рубашки, он об этом вспомнил, увидев ряды висевших на вешалках рубашек. Он выбрал две белые рубашки, иностранные, кажется, венгерской фирмы. Купил. Ему нужны были носки, он об этом вспомнил, зайдя в отдел, где продавались носки. Купил носки. Рядом был отдел мужского белья. Он купил две белые майки, белые трусы. Потом он забрел в отдел, где продавались чемоданы. Чемодан ему тоже был нужен. Он купил чемодан, желтый, нарядный, изготовленный в Румынии. Он собирался все это купить именно здесь, в Москве, когда совсем налегке пустился в путь из Кара-Калы. Он все собирался купить в Москве, чтобы жить там, а выходило, что покупал, чтобы вернуться назад. Он купил еще пижаму, вернувшись в отдел рубашек. Пижамы тоже были из Венгрии, в красную полоску, с отворотами, как у смокинга, жениховская какая-то пижама. Он купил флакон одеколона. Там, где он провел четыре года, одеколон иметь не разрешали. Да он бы и не уцелел там больше минуты, этот флакон. Его зеленоватое содержимое разделили бы по стаканам и выхлебали бы, смеясь и отфыркиваясь. А потом бы загрузили все разом, вспомнился бы каждому его дом.

С желтым румынским чемоданом, в котором шуршали, притираясь, купленные вещи, Павел вошел в подъезд дома Лены, нажал снова на двойку, пятерку и семерку. Теперь хоть было понятно, зачем он очутился у дома Лены. Во-первых, чтобы купить нужные ему вещи, во-вторых, чтобы поставить свой новый чемодан, не таскаться же с ним по городу.

За день крошечная квартирка прогрелась, прокалилась. Павел поспешно распахнул окно в кухне, его место было на кухне. Там, за открытым окном, далеко, но и близко, виднелась стена дома, откуда он пришел сейчас, где побывал у сына. Сидит, наверное, сейчас на кухне, обдумывает слова отца, гладит Тимку, который вертится у ног, мечтает о своей жизни с ним на границе. Пожалуй, так оно и произойдет. Он возьмет сына, возьмет собаку и вернется. "Что ж, братцы, - скажет он своим недавним друзьям, но надежным людям. - Не приняла меня Москва, а я не принял ее. Назад к вам вернулся. С сыном". Они поймут, они даже расспрашивать ни о чем не станут. В змееловы случайно не забредают, чтобы попасть в змееловы, надо хлебнуть беды. А хлебнувший беды человек понятлив, он зря с вопросами не полезет. Вернулся, значит, надо было. Мог работать до отъезда, сможешь и теперь. Сына привез? Правильно сделал. Что он там, в Москве, не видел? Там один только асфальт, вонища бензиновая. А здесь, гляди, паренек, какая тут красота, какие деревья растут, горы какие, небо какое. Собаку привез? Умно сделал. Сторожевой пес, подрастет, втянется в работу. Только через недельку, а то и через месяц невзначай, мимоходом скажет Павел друзьям, объяснит все же: "Не мог я в нарукавники казенные влезать, а другой работы мне там не было".

Так, решено, с этим решено. А как быть с тетрадью? Павел скинул пиджак, полез под тахту, достал свой чемоданчик, вернулся с ним на кухню.

Снова легла тетрадь на кухонный стол, снова присел к столу Павел, начал листать страницы. На одиннадцатой некто "Р." исчез - жаль, он забыл проверить свою догадку, когда разговаривал с Белкиным! - ну, а кто же занял на схемах его место? Так, там, где от буквы к букве шла рыба, где схема непременно завершалась заглавной буквой "М." - Митричем, там во главе схемы появилась заглавная буква "Б.". Так, так, не Белкин ли? Но Белкина уволили, выгнали. Если это Белкин, то где-то вскоре должен появиться крестик и возле буквы "Б.!" Павел торопливо листал страницы. Так оно и есть! Крестик! Вот он крестик возле буквы "Б.!" Надо будет узнать, той женщине позвонить в министерство, спросить ее, когда был уволен, выгнан ее заклятый друг Олег Белкин. По дате, проставленной Котовым на странице, это случилось примерно два года назад. Примерно два года назад и случился тот шторм, когда волной вышвырнуло на берег, к грязным стаканам, Олега Белкина. Получалось, сходилось. Надо проверить, но проверка только подтвердит, что он прав. С этой страницы, с тридцатой, рыбка перестала мелькать в тетради. Оборвались связи. Но вот и возобновились. Снова рыба. Центнеры рыбы. Пошел товар. Снова схема, в конце которой заглавная буква "М.". А вот в начале цепочки новая заглавная буква, некий "Д." начал действовать. Петр Григорьевич

Котов знал, кто этот "Д.", Павел не знал.

Бросить все, уехать, поднять лапки кверху? Обмотать эту тетрадочку клейкой лентой и спрятать на веки вечные где-нибудь у сестры в сарае или же увезти в Кара-Калу, где ее быстро съедят муравьи? И пускай, пусть их крадут, гребут - эти буквы, все эти Митричи? Решено, значит? Нет, что-то не решается, не по сердцу. Но не нести же ему эту тетрадь в прокуратуру? Это должен был сделать Котов, он этого не сделал. Не успел? Не довел дела до конца? Побоялся? Смалодушничал? В этих схемах и буква "Я" часто мелькает. Буква-то буква, но без точки. Не начальная буква фамилии, а "Я" местоимение. "Я" - это он, Котов. Случайно забыть про точку возле этой буквы Котов не мог. "Я" - это он сам.

Потому и удалось Котову все так подробно вызнать, что был в цепи. Но не для того же он проделал такую работу, рискованную работу, чтобы поматросить и забросить потом свою тетрадь? Он хотел понять, он хотел дойти до главарей, до тех букв заглавных, для которых Котов всего лишь был пешкой в игре. Такой же пешкой, какой был Павел Шорохов. Уцелей он тогда, Павел Шорохов, был бы и он в этой тетрадочке, звеньевым был бы в цепи. До Митрича Котов добрался. Знал он и много чего еще. Но Митрича он обозначил, это был ключ для разгадки. Стало быть, Котов хотел, чтобы разгадка была? Хотел, конечно, хотел! Иначе бы зачем вся затея?

Безмыслие было не безмыслием, мысль вызрела.

Павел потянулся к пиджаку, брошенному на табурет, достал из внутреннего кармана шариковую ручку, беленькую, ученическую. С этой ручкой он склонился над тетрадью, тоже ведь ученической. И там, где ученики пишут, из какого они класса и школы, по какому предмету завели тетрадь, как звать их и какая у них фамилия, на розоватого цвета первой странице, на той самой, где затаилась в складке бумаги цифра восемнадцать, Павел начал писать, раздумывая, медленно выводя каждое слово:

"В этой тетради прослеживаются воровские операции, прослеживается движение неучтенных товаров. Ключ к расшифровке всех схем - на странице восемнадцатой. Там заглавная буква "М." получает имя: Митрич. Это - Борис Дмитриевич Миронов, заместитель директора рыбного магазина, знаменитый в Москве любитель декоративных рыбешек. Эту тетрадь передал мне, умирая, один из участников махинаций. Он многое знал, изнутри ему было легче все разгадать. Полагаю, он хотел накрыть всю шайку. Он не успел, а мне одному не справиться. Когда все размотаете, пощадите имя Петра Григорьевича Котова. Это его тетрадь. Он был честным человеком, честным в душе. Поняли меня? А мне самому надо уезжать. Спешно. Мне надо спасать сына. Свое я отсидел, по этой тетради я не прохожу. Своей подписи я не ставлю, но это не анонимка. Через год я к вам сам приду. Хватит вам года, чтобы размотать?"

Павел долго выводил вопросительный знак, он у него большим стал, а потом положил на стол ручку и захлопнул тетрадь. Всё!

Нет, не все. Теперь надо было доставить эту тетрадь по адресу. Вот тогда будет - все. И нельзя было с этим медлить. Надо было действовать, пока не покинула решимость, пока не подкрадутся иные мысли, иные подсказывая решения. Ни минуты нельзя было медлить! Тетрадь эта ему уже не принадлежала.

Павел подхватил ее со стола, схватил пиджак, выбежал из квартиры.

Так и на улице очутился - с ненадетым пиджаком в одной руке, со стиснутой тетрадью в другой. Он обе руки вскинул, увидев зеленый огонек такси. Шофер сам открыл ему дверцу.

- Что стряслось, хозяин?

- На улицу Пушкинскую, дом пятнадцать, - сказал Павел, втискиваясь в машину. - Плачу десятку.

- Очнись, хозяин, - сказал таксист. - Зачем столько? Туда езды на рупь с мелочью. Не узнаешь меня? Подвозил тебя недавно на Гоголевский бульвар.

Павел глянул, узнал, не удивился, кивнул, здороваясь.

- Что, с повинной поехал? - спросил таксист. - Припекла Москва змеелова?

- Припекла. Нет, не с повинной. Я свое отсидел, виниться будут другие.

- Рискуешь?

- Рискую.

Больше они не разговаривали, Павел собирался с мыслями, остывал, готовясь к последнему, к главному шагу. Шофер тоже смолк, не донимал вопросами.

Приехали, Павел расплатился. Отъезжая, таксист посигналил ему для ободрения. Возле Прокуратуры СССР решился посигналить, пошел на риск.

В приемной прокуратуры Павел долго дождался своей очереди. Регистратор, молоденький юрист, нарядный, весь новенький, не торопился, был важен, вникал во всякую бумажку. Ждать Павлу было трудно. Уйти, что ли? В другой раз приехать? Павел вскакивал, садился, вскакивал, садился. Но молодой юрист не обращал на него внимания или даже нарочно тянул, разговаривая с какой-то старушкой, читая и перечитывая ее бумаги. Молодость для юриста, как и молодость для врача, - помеха. Нет юриста и нет врача без опыта жизни, без человековедческого опыта. Еще бы минута-другая - и ушел бы человек с тетрадью, которой не было цены для Прокуратуры СССР, не было цены для Правосудия.

На счастье, через приемную проходил пожилой юрист всего лишь с одной звездой младшего советника юстиции, а было ему уже за пятьдесят, это уже не майорский возраст. Возможно, не сложилась юридическая карьера? Но этот человек был зорек и понимал людей.

- Что у вас? - подошел он к Павлу.

Павел поднялся, хотел заговорить, но в приемной было много народу, и младший советник юстиции приподнял руку, чтобы Павел пообождал говорить.

- Отойдем к окошку.

Отошли.

- Так что у вас?

- В этой тетради... - Павел поверил старику, протянул тетрадь. - Тут на первой странице написано. Читайте. А я пойду.

Младший советник юстиции начал читать, а Павел пошел к двери. И младший советник юстиции, опытный человек, лишь поверх очков поглядел, как Павел уходит, и не стал его удерживать.

Павла познабливало. Жаркий догорал день, а ему холодом обдувало плечи. У человека, прошедшего через суд, услышавшего, как прокурор требует для него сурового приговора, особое отношение к прокуратуре, личное отношение. Нужно очень многое перебороть в себе, понять, самого себя пересудить, осудить, чтобы сделать то, что сделал Павел Шорохов. Вот только сегодня, сейчас, пятью минутами раньше, когда отдавал тетрадь, он вышел на свободу, отбыл срок, избавился. Но знобило, ладонями растирал плечи.

Кончился рабочий день, учрежденческая Москва запрудила центральные улицы, завертями текли человеческие потоки в станции метро.

Павел никуда не торопился, его гон кончился. Он шел от улицы к улице медленно, поближе к стенам домов держась, чтобы избежать людского стремительного потока, он шел и прощался. Это был его родной город. Он рвался сюда, на эти улицы, в эти переулки, он помнил их, вспоминал все пять лет, он ходил тут мысленно, обдумывая себя тут, когда снова вернется. Внешне таким он и шел, как ему мечталось. Он был отлично одет, пачка денег тяжелила карман, он прямо держался, и - да, да - женщины на него посматривали с интересом. Но там, где мечталось, как будет ходить он по Москве, когда вернется, он и подумать не мог, что в такой крутой оборот возьмет его жизнь, что так все переменится сразу же для него. По сути, он начинал жизнь наново.

Конечно, он вернется через год, он обязательно вернется. Но сейчас надо уезжать. Надо спасти сына. Эта дурында Зинаида и ее вертлявый нарцисс муженек какими-то ниточками тоже были связаны с Митричем, чуть ли не в услужении у него находились. Дурачье проклятое, они загнали мальчика на кухню! Мать, эта женщина зовется матерью, а ей спальня дороже сына! Решено: он увезет его, а через год они вернутся. За этот год все встанет на свои места, размотается клубок, за этот год сын к нему привыкнет. Он не отнимает сына у матери, он дает этой матери время одуматься, за голову схватиться, спросить себя: кто, что ей дороже? Можно считать, что он съездил в Москву на разведку, что окончательно он сюда вернется через год. Можно считать, что разведка удалась. Он вернется в Кара-Калу с сыном. Неплохо они там заживут, втроем заживут - сын, Тимка и он. Субтропики - занятнейшая земля. Там во дворе каждого дома грецкие орехи на землю падают. Как в сказке. Виноград, гранаты, яблоки - руку протяни. Мальчику там понравится. И действительно, рядом граница. И действительно, Тимку там смогут подучить собачьим премудростям. Мальчику там будет хорошо.

Куда идти? Как скоротать этот вечер, когда разжалась в тебе пружина, окончился бег, но просто-напросто некуда идти? Вот была бы дома Лена, он бы заспешил сейчас к ней, к теплу ее глаз, ее слов, к ее чаю с медом и хлебом. Но она возле какой-то старой женщины сейчас, возле умирающей, она пытается отстоять ее у смерти. Вот чем каждый день она занимается, эта едва женщина. Какая жизнь ей досталась! Пять лет выхаживала парализованную мать, потом смертельно больного мужа. Но не очерствела душа, не ожесточилась. Это счастье, что он ее встретил. Вот еще зачем он приехал в Москву, он приехал, чтобы встретить Лену.

Знобило его, и он решил чего-нибудь выпить. Надо было и в дом что-нибудь купить, где его поили и кормили. Павел вошел в первый же подвернувшийся продовольственный магазин, глянул, профессионально оценивая, какого ранга заведение, разом угадав очень многое: и про директора, и про персонал, как тут поставлено дело. Профессия жила в нем. Он любил свою работу. Он еще вернется к своей работе, начнет все наново и по-другому. А дело в этом магазине было поставлено довольно хорошо, на продавщицах были чистые халаты, кокетливые шапочки, в винном отделе не бушевала толпа мужчин: тут не гнали план на водке.

Павел купил бутылку коньяка, выбрав пятизвездочный грузинский, купил сыру, брынзы. Он не заговаривал с продавщицами, отдавая чек, он добро кивал им, называл, что ему нужно, а потом смотрел, как они работают. Это свой был народ, он прощался и с ними. Женщины

взглядывали на него, понимали, что он не подлаживается к ним, не пытается завести мимолетного этого знакомства, часто обидного, что мужчине этому не очень-то по себе, хотя он улыбается, добро кивая.

Теперь, когда руки были заняты, ничего другого не оставалось, как ехать домой, а домом для него был дом Лены. На метро Павел доехал до станции "Бауманская", оттуда завернул к рынку, круглому, как цирк, сооружению, но убедился, что опоздал: двери уже были заперты. Пешком, мимо Елоховского собора, мимо нового тут здания с развевающимся флагом на фронтоне, мимо купеческой поры магазинчиков, еще издали увидев парусом стоящий белый дом, Павел медленно шел и шел к нему, москвич с покупками в руках, с бутылочкой вот. Москвич среди москвичей. Он шел и прощался - и с собором, и с магазинчиками, и с красным флагом, и с москвичами вокруг, прощался с Москвой.

Лена была дома. Судьба была добра к нему! Когда Павел отмыкал дверь, Лена окликнула его:

- Павел, это вы?

Судьба была добра к нему, но у Лены был убитый голос.

- Я! Как хорошо, что вы дома! Мечтал, чтобы вы вдруг оказались дома! Павел сложил свои покупки на кухонный стол, глянул, как помолился, на кресты в окне. - Можно к вам?

- Можно.

Лена забилась в самый дальний угол своей тахты-кровати, сжалась там в углу, обхватив руками плечи.

- Вам нездоровится? - спросил Павел. Глядя на нее, он и сам ужал плечи под ладонями.

- Она умерла, женщина та умерла, - сказала Лена. - Кричала, не верила, что ее невозможно спасти. Осуждала всех. Сына. Не дай бог так умирать. А у вас что? Вы почему такой?

- Я отнес эту тетрадь в прокуратуру, - сказал Павел, присаживаясь на краешек тахты.

- Решились? Я боялась, что вы не решитесь.

- Теперь мне надо уезжать, спасти сына. Но я через год вернусь. Я вернусь.

- Я буду вас ждать.

- А вы бы поехали с нами! Втроем, нет, вчетвером. Сын, вы, Тимка и я. Тимка - это щенок, эрдель. Замечательный пес. Покатим, а?

- В Кара-Калу?

- Ага! А через год вернемся. Думаете, там нет больных? Сколько угодно. Но там они как-то иначе умирают, не кричат, не торгуются. Пришла пора умирать, и умирают. Я видел, как умирал один старик. Сложил руки, закрыл глаза - и все. Поехали?!

- Заманчивая картина. Нет, мое место здесь, Павел. У меня тетка старенькая на руках, больше никого у нее нет. Ей надо помогать.

- Что вы за человек, ну что вы за человек?!

- Обыкновенный. Это опасно, то, что вы сделали?

- Не знаю. Надо было это сделать. Знаю, это надо было. И надо сына увозить. Вот ему тут



опасно.

- Я сразу поверила, что вы еще отобьетесь, что вы еще сильный. Как взглянула, залюбовалась вами. Вон какой! А потом испугалась за вас. Неужели, подумала, вы из этих, кто навещал Петра Григорьевича?

- А я вас совсем сперва не разглядел. Ходит какая-то и пахнет лекарствами.

- Да, я пропахла лекарствами. Моюсь, моюсь, а не помогает.

- Мне даже нравится. - Павел потянулся к Лене, несмело припал лицом к ее плечу и замер, страшась, что она отстранится от него. Она не отстранилась. Ее рука коснулась его лба, пальцы у нее дрожали.

- Не торопи меня, - шепнула она. - Не торопи меня... Дай мне привыкнуть... Дай мне поверить, что могу быть опять счастливой...

Но он уже целовал ее, и она отвечала ему, их губы смелели. Но уже ничего они не могли поделаться с собой, не могли остановить себя. Она все же вырвалась из его рук, подбежала к окну, задернула занавески, отгораживаясь от куполов с крестами, стыдясь этих свидетелей. Потом она вернулась к нему.

28

Рано утром пошел дождь, летний, быстрый, мгновенный. Павел не спал, он услышал, как первые капли ударились о карниз, как потом зашуршала, заструилась вода. Обе узкие створки окна были распахнуты, и в комнату сразу проник запах дождя. Сперва это был запах влажной пыли, потом, показалось, это стал запах неба. Павел приподнялся на локтях, склонился над Леной. Она спала совсем неслышно, и от нее пахло дождем. Он глядел на нее и не мог вглядеться. Из-за утреннего сумрака в комнате? Он не мог, вглядываясь, рассматривая ее, близко наклоняясь к ней, почти касаясь ее губами, он не мог понять сейчас, какая она. Он знал только, что она прекрасна. Ее рука, эти выбеленные бесконечным мытьем пальцы медсестры были прекрасны. Ее губы жили и во сне, он не знал, что у нее такие губы, он думал, что они у нее узкие, а они наполнились и вздрагивали, они были прекрасны. Но он не мог в них как следует всмотреться, они менялись, ускользали.

Лена открыла глаза, в них не было сна. Она не спала, когда он ее разглядывал, почти прикасаясь к ней.

- Разонравилась? - спросила она, но не было тревоги в ее голосе.

- Ты для меня загадка, - ответил Павел. - А знаешь почему?

- Почему? - Она пахла дождем, молодой тополиной листвой.

- Потому что я в тебя влюблен. Я даже не умею тебя как следует разглядеть. Гляжу на твое лицо, но не могу в нем разобраться. Красива ли ты, не очень, очень? Не могу понять, уловить. Потому что я в тебя влюблен. Наверное, ты не такая уж и красавица, я не знаю, но я слепну от твоей красоты. Понимаешь, я ослеп от тебя. И почти ничего не соображаю, понимаешь. Не могу понять, скромна ли ты или это мне лишь кажется. Ты говоришь про самое обыкновенное про что-то, а я изумляюсь твоим словам, твоим мыслям, твоей мудрости. Но это ведь совсем простые мысли, житейские, обычные. Так отчего же я так ими восхищаюсь? А я в них даже не вдумываюсь. Я слежу за движением твоих губ - и люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя...

Дождь шел все сильнее. Это была гроза, не страшная, летняя гроза, а все же - с тучами, громом, молниями и с таким пронзительной чистоты воздухом, какой бывает только в горах, где не сошел еще снег. Раз всего в жизни добрался Павел до этой горной гряды. Сейчас он вспомнил тот воздух, тот охвативший его внезапно восторг, когда хотелось кричать, вызывая эхо, петь, когда встали рядом в глазах слезы радости и отчего-то - печали.

- Я верю, - сказала Лена. - Я верю тебе, Павлик. Нет, а я тебя сразу разглядела. Ты красивый. Но ты был чужой, а теперь ты не чужой. Какая гроза... Даже страшно...

Павел поднялся, встал у окна. Ветер взметал занавески, темным, влажным золотом струились купола. И уже вдали светлело небо.

- Сейчас кончится дождь, и рвану на рынок, - сказал Павел. - Куплю мяса, зелени. Буду готовить свадебный обед. Сам!

- Ах, ты уже женился? Какой быстрый.

- Мы поженились еще знаешь когда?

- Когда?

- А вот когда я принес тебе ведро роз. Не надо спать нагишом, красавица ты моя.

- Не надо подсматривать, как спят женщины, красавец ты мой. А может, так, провел ночку, и все? Ведь ты такой у нас...

- Я не такой у вас. Я совсем другой у вас. Я сам не знаю, какой я у вас.

- Я тебя люблю, Павлик. Хочешь взять меня в жены? Бери.

- Беру!

Дождь как начался внезапно, так внезапно и кончился. Грянуло солнце.

Лена подошла к Павлу. Нагие, обнявшись, они стояли у открытого окна, стояли перед всей Москвой, перед близкими куполами. Лена попросила:

- Господи, обвенчай нас.

29

В этом здании, цирке, именуемом Бауманским рынком, Павел прежде всего купил плетеную корзину. Он купил ее у старушки, которая принесла на рынок в своей корзине всего лишь пять белых грибов. Но каких! Только первые летние белые грибы бывают так совершенны. Они коричнево-румяны, они без единого пятнышка, без единой червоточинки. Старушке было жаль продавать грибы. Сколько походила по лесу ради них, как рано встала, вымокла на росе. Как радовалась каждой этой головке. Старушка заломила невероятную цену за свои грибы. Павел не торговался. А корзину старушка легко отдала, радуясь, что грибы не помнутся.

- Будешь что класть еще, грибы огорода, - напутствовала старушка Павла. - Ты откуда такой сам, как гриб?

- Ну, перехваливаешь! Спасибо, спасибо.

Потом Павел пошел покупать мясо. Ему нужна была вырезка. Он переглянулся с дюжим парнем, подбоченившимся у колоды с топором в руке, не ведавшим, что до слез похож он здесь, на Басманных улицах, на царева баловня, опричника, которому вскоре не сберечь головы, но этот час - его. Вырезка была отхвачена, отсечена, шмякнута на весы.

- Хорошему покупателю - почет!

Потом Павел покупал зелень. Тут из-за копеек он торговался, потому что нет слаще дела, как выгадать на базаре копейку, прогадав там же всю десятку.

Потом Павел покупал помидоры. Туркменских не нашел, но нашел узбекские, тоже из-под жаркого солнца.

Потом Павел купил дыню. Опять дыню. И снова у узбека, но безбородого, молоденького, возможно, что и внука того милого старика, щербатого и лукавого, который так выручил его в Дмитрове.

Потом Павел покупал огурцы, парниковые еще тут, и молодую, с орешек, картошку. Потом...

Он едва дотащил свою корзину до дома. Лена, когда Павел стал вынимать добычу, класть на стол, на табуреты в кухне, безмолвствовала, сведя ладони. Вот оно - счастье! Два человека эти были сейчас счастливы. У их счастья был даже запах. В квартирке зажил чудо-запах укропа, дыни, огурцов, грибов, киндзы, парного мяса, помидор и этих вот плетеных прутьев, тоже оживших,дохнувших лесом.

Потом Павел обрядился в передник и встал к плите. Так только говорится, что встал к плите. Ему еще предстояло все приготовить, все разделать. Крохотная кухня вмиг была завалена, зазвенела посуда, застучал нож по доске. Изумляясь и ужасаясь, смотрела Лена, как громит ее кухню этот неистовый кулинар в женском переднике.

- Съедим хоть что-нибудь, - сказала Лена. - Я умру от голода.

- Ни в коем случае! Хороший обед надо выстрадать!

Но он все же дал ей на блюдце один помидор, сам нарезал, крепко посолил, чуть осенил укропом.

- Ешь с черным хлебом! - приказал Павел. - Масла не нужно. И хлеба совсем чуть-чуть. Этот помидор - сам себе царь. Осознаешь?

Да, Лена осознала. По подбородку у нее стекал алый сок, глаза она зажмурила от счастья. Вдруг Павел вспомнил:

- Мне же в одиннадцать с сыном встречаться! Я обещал сводить его в зоопарк. Лен, а что, если мы пригласим парня к нам на обед?

- Конечно. Я буду рада.

- Сейчас без двадцати одиннадцать. Ах, как же я забыл?! Сейчас я мигом скатаю за ним. Будете стоять рядышком и смотреть, как я готовлю. Артист нуждается в зрителях!

Долой передник, ополоснул руки, накинул пиджак - и к двери.

- Павел, а можно я с тобой?

- Зачем? Не знакомить же мне вас во дворе, под каштанами, где сейчас, наверное, уже собираются солнцепоклонники с пивными бутылками, донышками устремленными в небо.

- Вы там встречаетесь?

- Там. Побежал!

Дверь закрылась за Павлом, а Лена задумалась. Она не привыкла быть такой счастливой, так долго жить в счастье. Но она привыкла угадывать беду. Тоненький в ушах у нее начался звон, такой далекий, будто с неба он шел. Этот звон в себе Лена знала: он предвещал беду. Она подхватила, быстро оделась, даже в зеркало не поглядев, выбежала следом за Павлом.

30

Через проход в доме с улицы Чернышевского Павел вбежал во двор, перескочил низенький заборчик, подошел к каштанам. На пяточке у стены Сережи еще не было. Но и одиннадцати еще не было, без трех минут одиннадцать было на часах у Павла. Хорошо, что он пришел первым, не заставил сына ждать. Но худо, что у стены на ящиках уже разместились какие-то две личности. Впрочем, едва Сергей появится, Павел уведет его отсюда. Но тут его окликнули:

- Не иначе Павел Сергеевич Шорохов?

- Я, - обернулся Павел.

Двое лениво поднялись с ящиков, лениво пошли к нему, сильные, длиннорукие, какие-то от силы своей раскоряченные. Учат у нас по всем клубам, на всех стадионах, в спортивных школах и дворовых кружках вот таких вот, мощных, раздатых, учат их еще и бить, кидать, прививая им любовь к самбо, каратэ, боксу, дзюдо. В целях обороны, надо думать. Но эти, они и сами по себе были сильны, их можно было бы и не обучать самозащите. Им бы лучше книжками с детства заняться.

- Сыночка ждете? - спросил один. Они были похожи, эти парни. Как-то одинаково одеты или казалось, что одинаково. Одинаково подстрижены, маслянистые их волосы были одного цвета. Зоркие, похожие глазки, одинаковые, от бокса, никакие носы.

- Сыночек ваш не выйдет, - сказал другой. - Двор не без глаз. Мамаша увезла сына на дачу. Видели вас с ним, встревожилась мамаша.

- Порвал с бабой, так уж рви до конца, - сказал другой.

- Что вам от меня надо? - спросил Павел. Знакомы ему были такие личности, он понимал, что дело подходит к драке. У него тоже была школа, своя школа против этих - подобных. Бить тут надо первому. Сперва того, что посильнее кажется, потом того, что килограммов на пять полегче. Один был в среднем весе, другой еще в полусреднем.

- Нам - ничего, - сказал тот, что был в среднем весе. - Просили передать, чтобы кончал выспрашивать, кончал людей беспокоить.

- Просили передать, - сказал полусредний, - чтобы по-умному зажил. Сказали, если что не так, можно потолковать, можно договориться.

- Чего вы муть какую-то несете? Кто просил? У кого вы в "шестерках"? Павел был счастливым сегодня человеком, он был в разгоне счастья и потому разговаривал с этими недоумками самонадеянно.

- Про "шестерки" ты зря, - сказал в весе среднего.

- Понял, о чем речь, или втолковать? - спросил полусредний и придвинулся к Павлу, открываясь. Но надо было бить не его, а того, который начал сдвигаться в сторону, начал отводить руку для удара. Все ясно: или он тебя, или ты его. Павел ударил. От всей души, от всей своей ярости, взорвавшейся в нем. За сына! За себя! За Лену! Попал. Спасибо тем четырем годам, той школе, где его учили. Попал и свалил. Полусредний замешкался, не ждал, что этот пижон все так умеет. Павел ударил его левой. Попал, но не очень сильно. Ярость ушла на первого.

Но Павла учили и потом, его учили и в другой школе, его учили оглядываться. Он забыл оглянуться. Он думал, что это всё. Он знал, что "шестерки" уважают силу, ждал, что они сейчас побегут. Вдруг позвали его:

- Павел!

Это был голос человека, когда его убивают, и это был родной голос.

Павел оглянулся. Он успел только увидеть еще одного, еще такого же, как те двое. Этот человек легко дотронулся до него, чуть ожег ему чем-то небожно бок и отпрыгнул, побежал. Падая, Павел увидел Лену, ее побелевшее лицо с громадными глазами. Это она крикнула, это она спасала его. Он понял, что его ударили ножом, хотя боли не было. И кажется, кажется, кажется, он все же успел отшатнуться, когда оглянулся.

Лена упала возле него на колени.

- Павлик, родненький! Я тебя выхожу! Я тебя не отдам! Господи, помоги мне! Люди, помогите!

А те трое уже бежали, разбегаясь в разные стороны, зная тут все проходы, бежали на кривоватых, но легких ногах.

Среди бела дня все это произошло. Много глаз это видело. Были во дворе люди. Но никто не кинулся за бандитами. Иструсливился народ, расслабило нас благополучие.

Впрочем, кто-то уже бежал вызывать "скорую", и где-то вдали заливался милицейский свисток.

- Не плачь, Лена, не плачь, - сказал Павел и улыбнулся ей. Змееловы... народ... живучий...

Вот и все.

Но, кажется, кажется, кажется, нож не убил его. Поверим в это!

1980 - 1981 гг.